

Часть III. Сибирь

I. Выбор полка. Пожар Апраксина двора. Начало реакции. Производство в офицеры. Отъезд в Сибирь

В середине мая 1862 года, за несколько недель до нашего производства, наш полковник сказал мне:

– Кропоткин, приготовьте список выпускных. Сегодня его нужно будет отослать великому князю.

Я взял список воспитанников нашего класса и стал обходить товарищей. Каждый знал очень хорошо тот полк, в который поступит. Большинство щеголяло уже в саду в офицерской фуражке своего полка. Нам предоставлялось право выйти в любой гвардейский полк с первым чином или же в армейский с чином поручика.

«Кирасирский его величества», «Преображенский», «в конную гвардию», отмечал я в списке.

– Ну, а ты, Кропоткин, куда? В казаки, в артиллерию? – задавали мне вопросы со всех сторон. Меня взяла грусть-раздумье; я попросил товарища закончить список и ушел в свою комнату, чтобы еще раз обдумать окончательное решение.

Я уже давно решил, что не поступлю в гвардию и не отдам свою жизнь придворным балам и парадом. Пошлость светской жизни тяготила меня. Я мечтал поступить в университет, чтобы учиться и жить студенческой жизнью. Это значило бы, конечно, порвать окончательно с отцом, который мечтал совсем об ином, и перебиваться уроками. Тысячи студентов живут так, и такая жизнь меня нисколько не страшила. Но как сделать первые шаги в новой жизни? Через несколько недель я оставлю корпус и должен буду обзавестись своим платьем, своей квартирой. Мне неоткуда было взять даже те небольшие деньги, которые нужны для начала... Таким образом, на поступление в университет не было надежды, и я давно думал об артиллерийской академии. Это избавило бы меня на два года от фронтовой ляжки; а в академии кроме военных наук я мог бы изучать математику и физику. Но в Петербурге тянул уже ветер реакции. В прошлую зиму с офицерами академии обращались уже как со школьниками. В двух академиях тогда были беспорядки, и в одной из них, инженерной, все офицеры, в том числе один мой большой приятель, вышли из академии.

И все более и более я останавливался на мысли о Сибири. Амурский край. Я читал об этом Миссисипи Дальнего Востока, о горах, прерываемых рекой, о субтропической растительности по Уссури; я восхищался рисунками, приложенными к уссурийскому путешествию Маака, и мысленно переносился дальше, к тропическому поясу, так чудно описанному Гумбольдтом, и к великим обобщениям Риттера, которыми я так увлекался. Кроме того, я думал, что Сибирь – бесконечное поле для применения тех реформ, которые выработаны или задуманы. Там, вероятно, работников мало, и я легко найду широкое поприще для настоящей деятельности. Хуже всего было то, что пришлось бы расстаться с Сашей; но он вынужден был оставить университет после беспорядков 1861 года, и я рассчитывал, что так или иначе, через год или через два, мы будем вместе.

– Конечно, на Амур, – говорил я себе. – Отец рассердился, но мне его помощь не нужна! Сибирская жизнь? – Но я заберу книги по математике и по физике, выпишу научный журнал. Буду учиться. Да, да, в университет нельзя, стало быть, на Амур...

Муж моей сестры – она жила в Ярославле, и мы тогда еще не переписывались – в это время усерднейшим образом списывался с моим отцом, стараясь вынудить его назначить мне подходящее содержание для службы в одном из гвардейских полков. Но я решил уже окончательно уехать на Дальний Восток.

Оставалось только выбрать полк в Амурской области. Уссурийский край привлекал меня больше всего; но, увы! там был лишь пеший казачий батальон. Я был все-таки еще мальчиком, и «пеший казак» казался мне уже слишком жалким, так что в конце концов я остановился на Амурском конном казачьем войске. Так и отметил я в списке, к великому огорчению всех товарищей. «Это так далеко!» – говорили они. А приятель мой Донауров схватил «Памятную книжку для офицеров» и к ужасу всех присутствующих начал вычитывать: «Мундир черного сукна, с простым красным воротником, без петличек. Папаха из собачьего или иного какого меха, смотря по месту расположения. Шаровары серого сукна».

– Ты только подумай, что за мундир! – воскликнул он. – Папаха еще куда ни шло: можешь носить волчью или медвежью. Но шаровары! Ты только подумай: серые, как у фурштатов! – После этого огорчение моих приятелей еще более усилилось.

Я отшучивался, как мог, и понес список к полковнику.

– Кропоткин всегда со своими шутками! – воскликнул он – Ведь сказал я вам, что список нужно отправить сегодня же великому князю.

Но когда я ему объяснил, что совсем не шучу, на лице доброго полковника изобразились изумление и полное огорчение. После минутного раздумия полковник произнес:

– Я сейчас отнесу список директору. Список окончательный? Никаких больше изменений не будет?

– Нет, не будет.

На другой день, однако, я едва не переменял решения, когда увидел, как принял его Классовский. Он желал, чтобы я поступил в университет и с этой целью давал мне даже уроки латинского языка, пока мы стояли в лагере. Я же не решался сказать ему, что мешает мне сделаться студентом. Я знал, что если скажу, то Классовский предложит поделиться своими крохами или выхлопочет мне стипендию. Я просто сказал ему, что поступаю в военную службу в Амурское войско.

Старик был страшно огорчен.

- Поступайте в университет, поверьте мне, вы будете гордостью России.

Но что я мог сказать в ответ на это? Отец и слышать не хотел об университете, а учиться на стипендию, полученную от кого-нибудь из царской фамилии, я ни за что не хотел.

И я молча стоял перед ним и не смел сказать ему настоящей сути дела. В душе Классовский должно быть решил, что «карьера» меня увлекла. И он как-то горько улыбнулся и не стал больше меня уговаривать.

О своем решении уехать на Амур я сейчас же написал отцу. Он жил тогда в Калуге. Дня через два – список еще не был отослан по «начальству» – меня позвали к директору корпуса Озерову. Директор показал мне телеграмму, полученную от отца. Телеграмма была такого содержания: «Выходить на Амур воспрещаю. Прошу принять нужные меры. Климат вредный для здоровья».

- Видите, я должен буду доложить великому князю о вас, и он не позволит идти против воли отца...

Я стоял на своем. По закону я имел право выбрать по своему желанию любой из полков русской армии.

- Ну, делайте как знаете. Пишите отцу. Но предупреждаю, если он не согласится, вас на Амур не выпустят.

Я взглянул еще раз на телеграмму. Ее конец открывал возможность для переговоров. И я снова написал отцу письмо, расхваливая ему климат Приамурья, пользу путешествий после двух лет усиленных занятий. Писал также и о возможности блестящей карьеры на Амуре, хотя тогда уже «карьера» для меня не представляла ни малейшего интереса.

Последние дни пребывания в корпусе я ходил как в воду опущенный. Горькая улыбка Классовского не выходила у меня из головы. Через несколько дней меня потребовали к Корсакову, помощнику начальника военно-учебных заведений. Опять тот же вопрос:

- Его высочество очень удивился. С какой это стати вы вздумали записаться на Амур?

Я боялся выдать свою мечту об университете, так как был уверен, что если заикнусь об этом, то великий князь Михаил Николаевич предложит мне стипендию. Отголоски либеральных идей еще носились в это время в Петербурге, а в придворных кругах много

говорили о моих способностях, о моих дарованиях, что я так и ждал, что, если я проговорюсь, мне предложат стипендию. И опять мне пришлось путаться. Я стал говорить Корсакову о желании путешествовать, о флоре Приамурья и т. д.

Корсаков слушал, слушал и неожиданно прервал меня.

– Вы, верно, влюблены.

– Нет, если бы я был влюблен, я бы здесь остался: ближе к цели.

– Какая самонадеянность, – шутливо заметил Корсаков и добавил: – Я доложу его высочеству.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не случилось одно очень важное событие – большой пожар в Петербурге; оно косвенно разрешило мои затруднения.

26 мая, в Духов день, начался страшный пожар Апраксина двора. Середину двора, почти полверсты в квадрате, занимал тогда Толкучий рынок, весь застроенный деревянными лавчонками. Здесь продавались всевозможные подержанные вещи. В лавчонках, в проходах между ними и даже на крышах нагромождались подержанная мебель, перины, ношеное платье, книги, посуда. Словом, всякий хлам свозился сюда из всех концов города. Позади этого громадного склада горючего материала находилось Министерство внутренних дел, в архиве которого хранились все документы, касавшиеся освобождения крестьян; а впереди Толкучего, окаймленного рядом каменных лавок, стоял на другой стороне Садовой Государственный банк. Узкий переулок, частью обстроенный каменными лавками, отделял Апраксин двор от крыла здания Пажеского корпуса. Нижний этаж этого крыла занят был лавками с бакалейными и москательными товарами, а в верхнем этаже помещались квартиры офицеров. Почти насупротив Министерства внутренних дел, на другом берегу Фонтанки, находились громадные дровяные склады. И вот, Апраксин двор и дровяные склады занялись почти одновременно, в четыре часа пополудни.

Будь в это время сильный ветер, огонь уничтожил бы пол-Петербурга, в том числе и Государственный банк, несколько министерств, Гостиный двор. Пажеский корпус и Публичную библиотеку.

В тот день я был в корпусе и обедал у одного из офицеров. Мы помчались на пожар, как только увидели из окон первые черные клубы дыма. Зрелище было ужасное. Огонь трещал и шипел. Как чудовищная змея, он метался из стороны в сторону и охватывал кольцами лавчонки. Затем он поднимался внезапно громадным столбом, высовывая в сторону свои языки, и лизал ими новые и новые балаганы и груды товаров. Образовались вихри огня и дыма; а когда вихрь закружил тучу горящих перьев из перинного ряда, оставаться на Толкучем уже было невозможно. Приходилось бросить все на произвол огня.

Власти совершенно потеряли голову. Во всем Петербурге не было тогда ни одной паровой пожарной трубы. Какие-то рабочие вызвались привезти такую трубу из колпинских заводов, то есть верст за тридцать от Петербурга по железной дороге. Когда машину привезли на Николаевский вокзал, народ же приволок ее на пожар. Из четырех кишок одна оказалась,

однако, поврежденной неизвестной рукой; остальные же три кишки направили на здание Министерства внутренних дел.

На пожар приехали великие князья и скоро уехали. Поздно вечером, когда Государственный банк находился уже вне опасности, явился Александр II и велел отставить Пажеский корпус как центральный пункт позиции. Это и без него все знали. Было очевидно, что, если загорится Пажеский корпус, погибнет Публичная библиотека и половина Невского проспекта.

Толпа, народ делали все, чтобы остановить огонь. Был момент, когда Государственный банк находился в сильной опасности. Вынесенные из лавок товары сваливали кучами на Садовой, у стен левого крыла банка. От падающих головешек загорались постоянно товары, сваленные на улице; но народ, задыхаясь в невыносимой жаре, не давал разгораться вещам, лежащим на улице. В толпе ругали начальство за то, что тут не было ни одной пожарной трубы. Всюду слышалось: «Что они там, черти, делают в Министерстве внутренних дел, когда вот-вот загорятся банк и Воспитательный дом? Все с ума сошли, что ли! Где обер-полицеймейстер? Почему он не посылает пожарную команду к банку?» Обер-полицеймейстера, генерала Анненкова, я знал лично, так как встречался с ним в доме помощника инспектора, куда Анненков приходил со своим братом, известным критиком. Тогда я вызвался найти его и действительно нашел. Он бродил бесцельно по Чернышеву переулку. Когда я доложил ему о положении вещей, то он, как ни невероятно, поручил мне, мальчику, перевести одну пожарную команду от здания Министерства к банку. Я воскликнул, конечно, что пожарные меня не послушаются, и просил письменного приказа; но у Анненкова не было при себе, или он уверял, что не имеет, ни клочка бумаги. Тогда я попросил одного из наших офицеров, Л. Л. Госсе, пойти со мной и передать приказ. Мы наконец убедили одного брандмейстера, ругавшего весь свет и свое начальство отборными словами, перейти со своей командой на Садовую.

Горело не Министерство внутренних дел, а архивы. Много молодежи, главным образом кадеты и пажи, при содействии канцелярских выносили из горящего здания пачки бумаг и складывали на извозчиков. Иногда пачка падала на землю, ветер тогда подхватывал отдельные листы и гнал их по площади. Сквозь черные тучи дыма видны были зловещие огни пылавших деревянных складов на другом берегу Фонтанки.

Узкий Чернышев переулок, отделявший Пажеский корпус от Апраксина двора, был в отчаянном состоянии. В каменных лавках, напротив корпуса, находились большие запасы серы, деревянного масла, скипидара и тому подобных горючих веществ. Разноцветные огненные языки, выбрасываемые взрывами из лавок, лизали крышу низкого Пажеского корпуса, выходившего на другую сторону переулка. Оконные рамы и стропила уже дымились. Пажи и кадеты, очистив здание, поливали его крышу из небольшой пожарной трубы кадетского корпуса, для которой вода с большими промежутками подвозилась в бочках, наливавшихся от руки, шайками. Пожарные, стоявшие на раскаленной крыше, все время кричали надрывавшими душу голосами: «Воды! Воды!» Я не мог выносить эти крики и помчался на Садовую, где силой завернул на наш двор одну из полицейских пожарных бочек. Но когда я попытался сделать это вторично, пожарный наотрез отказался. «Меня отдадут под суд, если я сверну», – сказал он. Со всех сторон товарищи торопили меня:

«Пойди и найди кого-нибудь, обер-полицеймейстера или великого князя. Скажи им, что без воды мы больше не можем отстаивать Пажеский корпус».

– Не доложить ли директору? – предложил кто-то.

– Черт побери их всех! Их теперь с фонарем не разыщешь! Пойди и сделай все сам.

Я пошел опять разыскивать Анненкова. Мне наконец сказал кто-то, что он, должно быть, во дворе Государственного банка. Там, действительно, стояло несколько офицеров около одного генерала, в котором я узнал петербургского генерал-губернатора князя Суворова. Ворота, однако, были заперты. Банковский чиновник, стоявший возле них, наотрез отказался впустить меня. Я настаивал, грозил, и наконец меня пустили. Тогда я подошел прямо к князю Суворову, который писал записку на спине одного из своих адъютантов.

Когда я доложил ему о положении вещей, то Суворов прежде всего спросил:

– Кто вас послал?

– Никто, – отвечал я, – товарищи.

– Так вы говорите, что Пажеский корпус скоро загорится?

– Да. Мы больше не можем отстаивать.

– Идемте со мной.

Суворов быстрыми шагами вышел на улицу, подобрал картонку от шляпы, покрыл ею голову и побежал что было сил в Чернышев переулок. С одной его стороны пылали лавки, с другой – тлели рамы и стропила корпуса. Мостовая же была покрыта пустыми бочками, деревянными ящиками, соломой и тому подобным. Суворов принялся действовать решительно.

– У вас во дворе рота солдат. Возьмите отряд и немедленно очистите переулок. Сейчас проведут сюда одну из кишок паровой пожарной машины. Управляйте ею. Я вам лично поручаю ее.

Нелегко было двинуть солдат из нашего сада. Они вычистили из бочек и ящиков все содержимое, набили карманы кофейными зернами, а в кепи запрятали, каждый, по большому куску сахара, и теперь, в эту теплую, весеннюю ночь, они прохлаждались под деревьями, пощелкивая орехи. Никто не хотел двинуться с места, покуда наконец не вмешался офицер. Переулок очистили и кишку пустили в ход. Товарищи были в восторге. Каждые двадцать минут мы сменяли солдат, направлявших кишку. Кто-нибудь из нас стоял рядом с ними, несмотря на адскую жару.

Около трех или четырех часов утра стало очевидно, что с огнем удалось справиться. Пажеский корпус находился теперь вне опасности. Утолив жажду несколькими стаканами чая в белой харчевне, у Александрийского театра, полумертвые от усталости, мы

завалились спать на первые свободные койки в госпитале корпуса. На другой день я поднялся рано и в некогда белом, суконном, а теперь черном от копоти кепи пошел на пожарище. Возвратившись в корпус, я встретил великого князя Михаила, которого, согласно требованию службы, я провожал, когда он обходил здание. Пажи поднимали головы с подушек. У всех лица почернели от дыма, глаза и веки распухли; у многих были опалены волосы. Нарядных пажей с трудом можно было узнать, но они гордились сознанием, что проявили себя не белоручками и работали не хуже других.

Это посещение великого князя разрешило мои затруднения. Выходя, он спросил меня:

- Ты на Амур выходишь? Что за охота?

- Путешествовать хочется.

- У тебя родные там есть?

- Нет, никого.

- А генерал Корсаков (генерал-губернатор) тебя знает?

- Нет.

- Так как ты поедешь? Тебя ушлют в какую-нибудь глухую казачью станицу - с тоски умрешь. Я лучше напишу о тебе генерал-губернатору и попрошу оставить тебя где-нибудь при штабе.

Мне оставалось только поблагодарить великого князя.

Я был уверен теперь, что после такого предложения отец мой не будет больше против моей поездки. Так оно и было. Теперь я мог свободно ехать в Сибирь.

Пожар Апраксина двора стал поворотным пунктом не только в политике Александра II, но и в истории России того периода. Не подлежало сомнению, что пожар не был делом случайности. В Троицу и в Духов день в Апраксином дворе, кроме нескольких сторожей, никого не было. Кроме того, Апраксин двор и дровяные склады на другой стороне Фонтанки занялись почти одновременно; а за пожаром в Петербурге последовало несколько таких же пожаров в некоторых провинциальных городах. Несомненно, кто-то поджигал; но кто именно? На этот вопрос нет ответа до сих пор.

Катков, руководимый личной ненавистью к Герцену, а в особенности к Бакунину, с которым раз должен был драться на дуэли, на другой же день после пожара обвинил в поджоге поляков и русских революционеров. И в Петербурге, и в Москве этому обвинению поверили.

Польша готовилась тогда к революции, которая разразилась в январе следующего года. Тайное революционное правительство заключило союз с лондонскими изгнанниками. Жонд имел членов даже в самом сердце петербургской администрации. Немного времени спустя после пожара русский офицер стрелял в варшавского наместника, графа Людерса; а когда

вместо Людерса назначили наместником Константина Николаевича (говорили тогда, что из Польши сделают отдельное королевство для великого князя), то и на него сделано было 26 июня покушение. В августе кто-то стрелял также в маркиза Велепольского, вождя партии слияния с Россией. Англия и Наполеон III поддерживали в поляках надежду на вооруженное вмешательство в пользу их независимости. В таких условиях с обыкновенной военной точки зрения уничтожение Государственного банка, нескольких министерств и распространение паники в столице могли казаться хорошим боевым планом. Но в подтверждение этого предположения не было приведено ни малейшего факта.

С другой стороны, крайние партии в России видели, что на инициативу Александра II в реформационном движении нельзя больше возлагать никаких надежд. Не подлежало сомнению, что течение его все больше и больше относит к лагерю реакционеров. Для передовых людей было очевидно, что вследствие высокого выкупа, назначенного за землю, освобождение означает для крестьян полное разорение. В силу этого в Петербурге появились в мае прокламации, призывавшие народные массы к поголовному восстанию, образованным же классам предлагалось настаивать на необходимости земского собора. При таком настроении какому-нибудь революционеру могла, конечно, прийти в голову мысль разрушить правительственную машину пожаром.

Наконец, неопределенный характер освобождения вызвал сильное брожение среди крестьян, составляющих большую часть населения во всех городах; а брожения среди крестьян всегда сопровождалось в России подметными письмами и поджогами.

Возможно, таким образом, что мысль поджечь Апраксин рынок могла возникнуть в голове единичных представителей революционного лагеря; но ни тщательное следствие, ни массовые аресты, начавшиеся в России и в Польше немедленно после пожара, не дали ни малейших на это указаний. Если бы что-нибудь в этом роде было найдено, реакционная партия, наверное, поспешила бы им воспользоваться. С тех пор появилось также в печати много воспоминаний, опубликовано много писем, относящихся к тому времени, но опять-таки в них нет ни малейшего намека в подтверждение такого предположения.

Напротив того, когда вспыхнули пожары во многих приволжских городах, а в особенности в Симбирске, и когда туда был послан для следствия сенатор Жданов, он закончил расследование с твердым убеждением, что симбирский пожар был делом реакционной партии. В ней существовала уверенность, что возможно еще убедить Александра II отложить окончательное освобождение крестьян, которое должно было состояться 19 февраля 1863 года. Реакционеры знали слабость характера Александра II и немедленно после пожаров сильно стали агитировать в пользу отсрочки освобождения и пересмотра практического применения закона. В хорошо осведомленных кругах говорили, что Жданов возвращался в Петербург с положительными доказательствами виновности симбирских реакционеров; но он внезапно умер в дороге, а портфель его исчез и никогда не был найден.

Как бы то ни было, пожар Апраксина двора имел весьма печальные последствия. После него Александр II открыто выступил на путь реакции. 12 июня был арестован Чернышевский и заключен в Петропавловскую крепость. Общественное мнение той части общества в

Петербурге и в Москве, которая имела сильное влияние на правительство, сразу сбросило либеральный мундир и восстало не только против крайней партии, но даже против умеренных. Несколько дней спустя после пожара я пошел навестить моего двоюродного брата, флигель-адъютанта. В конногвардейских казармах, где он жил, я часто встречал офицеров, сочувствовавших Чернышевскому. Двоюродный брат мой до тех пор сам был усердным читателем «Современника»; теперь же он принес мне несколько книжек журнала и положил их предо мною на стол, говоря: «Отныне, после этого, не хочу иметь ничего общего с зажигательными писаниями, довольно!» Слова эти отражали мнение «всего Петербурга». Толковать о реформах стало неприлично. Атмосфера была насыщена духом реакции. «Современник» и «Русское слово» были приостановлены. Все виды воскресных школ запретили. Начались массовые аресты. Петербург был поставлен на военное положение.

Через две недели, 13 июня, наступил наконец день, которого кадеты и пажи дожидались с таким нетерпением. Александр II произвел нам род короткого экзамена в военных построениях. Мы командовали ротами, а я гарцевал на коне впереди сводного батальона из выпускных в должности «младшего штаб-офицера». Затем нас всех произвели в офицеры.

Когда парад кончился, Александр II громко скомандовал: «Произведенные офицеры, ко мне!» Мы окружили его. Он оставался на коне. Тут я увидел Александра II в совершенно новом для меня свете. Во весь рост встал предо мною свирепый укротитель Польши и вешатель последних годов. Он весь сказался в своей речи, и он стал после этого дня противен мне.

Начал он в спокойном тоне: «Поздравляю вас. Вы теперь офицеры». Он говорил о военных обязанностях и о верности государю, как это всегда говорится в подобных случаях. Но затем лицо его стало злое, свирепое, и он принялся выкрикивать злобным голосом, отчеканивая каждое слово: «Но если чего боже сохрани – кто-нибудь из вас изменит царю, престолу и отечеству, я поступлю с ним по всей строгости закона, без малейшего пощужения!..»

Его голос оборвался. Лицо его исказилось злобой и тем выражением слепой ярости, которое я видел в детстве у отца, когда он кричал на крепостных и дворовых: «Я с тебя шкуру спущу!» Даже некоторое сходство между отцом и царем промелькнуло. Александр II сильно прищипил коня и поскакал от нас. На другой день, 14 июня, по его приказу в Модлине расстреляли трех офицеров, а рядового Шура засекли шпицрутенами до смерти.

«Реакция – полным ходом», – говорил я себе, возвращаясь с парада.

Александра II я увидел еще раз, прежде чем оставил Петербург. Через несколько дней после производства все офицеры представлялись ему во дворце. Мой более чем скромный мундир с знаменитыми серыми шароварами привлекал всеобщее внимание. Ежеминутно я должен был удовлетворять любопытство офицеров всех чинов, спрашивавших меня, что это за форма такая? Амурское казачье войско было тогда самое молодое в армии, и я стоял почти в конце нескольких сотен представлявшихся офицеров. Александр II отыскал меня и спросил:

– Так ты едешь в Сибирь? Что ж, твой отец согласился?

Я ответил, что да.

– Тебя не страшит ехать так далеко?

Я с жаром ответил:

– Нет, я хочу работать, а в Сибири так много дела, чтобы проводить намеченные реформы.

Александр II взглянул на меня пристально. Он задумался на минуту и, глядя куда-то вдаль, сказал наконец: «Что ж, поезжай. Полезным везде можно быть». – И лицо его приняло выражение такой усталости, такой полной апатии, что я тут же подумал: «Он конченный человек. Он теперь сдастся совсем».

Петербург принял мрачный характер. По улицам ходили отряды пехоты. Казачьи патрули разъезжали кругом дворца. Петропавловская крепость наполнялась политическими заключенными. Куда я ни приходил, всюду я видел одно и то же – торжество реакции. Я оставлял Петербург без сожаления.

Каждый день я навещался в казачье управление с просьбой выправить скорее мои бумаги. И как только они были готовы, я поспешил в Москву, к брату Саше.

II. Иркутск. Генерал Кукель.

Реформационная деятельность. Волна реакции

Пять лет, проведенных мною в Сибири, были для меня настоящей школой изучения жизни и человеческого характера. Я приходил в соприкосновение с различного рода людьми, с самыми лучшими и с самыми худшими, с теми, которые стоят на вершине общественной лестницы, и с теми, кто прозябает и копошится на последних ее ступенях: с бродягами и так называемыми неисправимыми преступниками. Я видал крестьян в их ежедневной жизни и убеждался, как мало может дать им правительство, даже если оно одушевлено лучшими намерениями. Наконец, мои продолжительные путешествия – во время которых я сделал более семидесяти тысяч верст на перекладных, на пароходах, в лодках и, главным образом, верхом – удивительно закалили мое здоровье. Путешествия научили меня также тому, как мало в действительности нужно человеку, когда он выходит из зачарованного круга условной цивилизации. С несколькими фунтами хлеба и маленьким запасом чая в переметных сумках, с котелком и топором у седла, с кошмой под седлом, чтобы покрыть ею постель из свеженарезанного молодого листвяка, человек чувствует себя удивительно независимым даже среди неизвестных гор, густо поросших лесом или же покрытых глубоким снегом. Я мог бы написать целую книгу об этой поре моей жизни, но мне приходится коснуться ее лишь слегка.

Сибирь – не мерзлая страна, вечно покрытая снегом и заселенная лишь ссыльными, как представляют ее себе иностранцы и как еще очень недавно представляли ее себе у нас. Растительность Южной Сибири по богатству напоминает флору Южной Канады. Сходны также их физические положения. На пять миллионов инородцев в Сибири – четыре с половиной миллиона русских[10], а южная часть Западной Сибири имеет такой же совершенно русский характер, как и губернии к северу от Москвы.

В 1862 году высшая сибирская администрация была гораздо более просвещенной и в общем гораздо лучше, чем администрация любой губернии в Европейской России. Пост генерал-губернатора Восточной Сибири в продолжение нескольких лет занимал замечательный человек граф Н. Н. Муравьев... Он был очень умен, очень деятелен, обаятелен, как личность, и желал работать на пользу края. Как все люди действия правительственной школы, он в глубине души был деспот; но Муравьев в то же время придерживался крайних мнений, и демократическая республика не вполне бы удовлетворила его. Ему удалось отделаться почти от всех старых чиновников, смотревших на Сибирь как на край, где можно грабить безнаказанно, и он окружил себя большею частью молодыми, честными офицерами, из которых многие имели такие же благие намерения, как и сам он...

Когда я приехал в Иркутск, реакционная волна, поднимавшаяся в Петербурге, еще не достигла столицы Восточной Сибири. Меня очень хорошо принял молодой генерал-губернатор Корсаков, только что заменивший Муравьева, и заявил, что он очень рад видеть возле себя людей либерального образа мыслей. Корсаков никак не мог поверить мне, что я по собственному желанию выбрал Сибирь. Он думал, что меня назначили в Сибирь за какую-нибудь провинность. Когда же я его разуверял в этом, он лишь добавил:

– Впрочем, это меня не касается.

Помощником Корсакова был молодой, тридцатипятилетний генерал Кукель, он занимал должность начальника штаба Восточной Сибири (он сейчас же взял меня к себе адъютантом) и, как только ознакомился со мной, повел меня в одну комнату в своем доме, где я нашел лучшие русские журналы и полную коллекцию лондонских революционных изданий Герцена. Скоро мы стали близкими друзьями.

В то время Б. К. Кукель временно занимал пост губернатора Забайкальской области, и через несколько недель мы переправились через Байкал и поехали на восток, в Читу. Здесь мне пришлось отдаться всецело, не теряя времени, великим реформам, которые тогда обсуждались. Из петербургских министерств присланы были местным властям предложения выработать планы полного преобразования администрации, полиции, судов, тюрем, системы ссылки, городского самоуправления. Все это должно было быть преобразовано на широких либеральных основах, намеченных в царских манифестах.

Кукелю помогали: умный, практический человек полковник К. Н. Педашенко, старший член казачьего управления, адъютант военного округа А. Л. Шанявский (впоследствии основатель Московского народного университета) и два-три честных гражданских чиновника, в том числе Ядринцев. Все они работали усердно, весь день и часто ночи. Я стал секретарем двух комитетов: для реформы тюрем и всей системы ссылки и для выработки

проекта городского самоуправления. Я взялся за работу со всем энтузиазмом девятнадцатилетнего юноши и много читал об историческом развитии этих учреждений в России и о современном положении их в Западной Европе. Министерства внутренних дел и юстиции издавали тогда в своих журналах отличные работы, относящиеся к обоим вопросам, и я изучал их. Но в Забайкальской области мы не довольствовались одними теориями. Я сперва обсуждал с практическими людьми, хорошо знакомыми с местными условиями и с нуждами края, общие черты проекта, а затем мы вырабатывали его во всех подробностях, пункт за пунктом. С этой целью мне приходилось встречаться с целым рядом лиц как в городе, так и в деревнях. Затем полученные результаты мы вновь обсуждали с Кукелем и Педашенко. После этого я составлял проект, который снова, тщательно, пункт за пунктом, разбирался в комитете. Один из этих комитетов – для выработки проекта самоуправления – состоял из читинцев, выбранных всем населением города: в нем заседал даже один поселенец. Короче сказать, наша работа была очень серьезна. И даже в настоящее время, глядя на нее в перспективе нескольких десятилетий, я искренно могу сказать, что, если бы самоуправление дано было по тому скромному плану, которые мы тогда выработали, сибирские города имели бы теперь совсем другой вид. Но из нашей работы, как видно будет, ничего не вышло.

Не было недостатка и в других случайных работах. То приходилось найти деньги для поддержания детского приюта, то нужно было сделать описание экономического положения области на основании местной земледельческой выставки, то предстояло начать какие-нибудь важные исследования или произвести какое-нибудь следствие.

– Мы живем в великую эпоху; работайте, милый друг; помните, что вы секретарь всех существующих и будущих комитетов, – говорил мне иногда Кукель. И я работал с двойной энергией.

Следующий пример покажет, каковы были результаты. В Забайкальской области в одной из волостей служил заседатель М., творивший невероятные вещи. Он грабил крестьян, сек немилосердно – даже женщин, что было уже против закона. Если ему в руки попадало уголовное дело, он гноил в остроге тех, которые не могли дать ему взятку. Кукель давно бы прогнал заседателя, но на это не соглашались в Иркутске, так как М. имел сильных покровителей в Петербурге. После долгих колебаний решили, что я поеду и произведу следствие на месте, чтобы собрать факты против заседателя. Выполнить это было нелегко, так как напуганные крестьяне отлично помнили, что до бога высоко, а до царя далеко, и не решались давать свидетельские показания. Даже женщина, которую высек заседатель, вначале опасалась свидетельствовать. Лишь после того как я прожил две недели с крестьянами и заслужил их доверие, выплыли мало-помалу деяния М. Я собрал подавляющие факты, и заседателю велели подать в отставку. Каково же было наше удивление, когда через несколько месяцев мы узнали, что тот же М. назначен исправником в Камчатку! Там он мог беспрепятственно грабить инородцев, что и делал, конечно, так, что через несколько лет он возвратился в Петербург богатым человеком. Теперь он порой сотрудничает в консервативных газетах и, разумеется, парадирует как «настоящий русский человек».

Как я сказал, волна реакции еще не дошла до Сибири. С политическими ссыльными обращались со всевозможной мягкостью, как при Муравьеве. Когда в 1861 году сослали в каторжные работы М. Л. Михайлова за составление прокламации, тобольский губернатор дал в честь его обед, на котором присутствовали все местные власти. В Забайкальской области Михайлова не держали в каторжной работе. Ему официально разрешили оставаться в тюремном госпитале села Кадаи, близ Нерчинского завода; но здоровье Михайлова было очень слабо – он вскоре умер от чахотки – и Кукель разрешил ему жить у брата, горного инженера, арендовавшего у казны золотой прииск. Об этом знали все в Сибири. Но вот мы получили известие из Иркутска, что в силу полученного доноса в Читу едет жандармский генерал для следствия по делу М. Л. Михайлова. Привез нам это известие адъютант генерал-губернатора князь Дадешкалиани. Мы сейчас же собрались на совет, и меня откомандировали немедленно предупредить Михайлова и сказать ему, чтобы он сейчас же перебрался в Кадаю, покуда жандармского генерала задержат в Чите. Так как генерал выигрывал за зеленым полем в доме Кукеля значительные суммы денег, то он скоро решил не менять этого приятного занятия на долгое путешествие в горный округ, тем более что и холода тогда стояли жестокие. В конце концов жандармский генерал возвратился в Иркутск очень довольный своею выгодною командировкою.

Гроза тем не менее надвигалась все ближе и ближе. Она все смела пред собою вскоре после того, как в Польше разразилась революция.

III. Польское восстание. Гибельные последствия для поляков и для русских. Реакция в Сибири. Конец реформам

В январе 1863 года Польша восстала против русского владычества. Образовались отряды повстанцев, и началась война, продолжавшаяся полтора года. Лондонские эмигранты умоляли польские революционные комитеты отложить восстание, так как предвидели, что революция будет подавлена и что она положит конец реформам в России. Но ничего нельзя уже было сделать. Свирепые казачьи расправы с националистическими манифестациями на улицах Варшавы в 1861 году, жестокие беспричинные казни, последовавшие затем, привели поляков в отчаяние. Англия и Франция обещали им поддержку, жребий был брошен.

Никогда раньше польскому делу так много не сочувствовали в России, как тогда. Я не говорю о революционерах. Даже многие умеренные люди открыто высказывались в те годы, что России выгоднее иметь Польшу хорошим соседом, чем враждебно настроенной подчиненной страной. Польша никогда не потеряет своего национального характера: он слишком резко вычеканен. Она имеет и будет иметь свое собственное искусство, свою литературу и свою промышленность. Держать ее в рабстве Россия может лишь при помощи грубой физической силы; а такое положение дел всегда благоприятствовало и будет

благоприятствовать господству гнета в самой России. Это сознавали многие, и, когда я был еще в корпусе, петербургское общество одобрительно приветствовало передовую статью, которую славянофил Иван Аксаков имел мужество напечатать в своей газете «День». Он начинал с предположения, что русские войска очистили Польшу, и указывал благие последствия для самой Польши и для России. Когда началась революция 1863 года, несколько русских офицеров отказались идти против поляков, а некоторые даже открыто присоединились к ним и умерли или на эшафоте, или на поле битвы. Деньги на восстание собирались по всей России, а в Сибири даже открыто. В университетах студенты снаряжали тех товарищей, которые отправлялись к повстанцам.

Но вот среди общего возбуждения распространилось известие, что в ночь на 10 января повстанцы напали на солдат, квартировавших по деревням, и перерезали сонных, хотя накануне казалось, что отношения между населением и войсками дружеские. Происшествие было несколько преувеличено, но, к сожалению, в этом известии была и доля правды. Оно произвело, конечно, самое удручающее впечатление на общество. Снова между двумя народами, столь сродными по происхождению, но столь различными по национальному характеру, воскресла старая вражда.

Постепенно дурное впечатление изгладилось до известной степени. Доблестная борьба всегда отличавшихся храбростью поляков, неослабная энергия, с которой они сопротивлялись громадной армии, скоро вновь пробудили симпатию к этому героическому народу. Но в то же время стало известно, что революционный комитет требует восстановления Польши в старых границах, со включением Украины, православное население которой ненавидит панов и не раз в течение трех последних веков начинало восстание против них кровавой резней.

Кроме того, Наполеон III и Англия стали угрожать России новой войной, и эта пустая угроза принесла полякам более вреда, чем все остальные причины, взятые вместе. Наконец, радикальная часть русского общества с сожалением убедилась, что в Польше берут верх чисто националистические стремления. Революционное правительство меньше всего думало о наделении крепостных земель, и этой ошибкой русское правительство не преминуло воспользоваться, чтобы выступить в роли защитника холопов против польских панов.

Когда в Польше началась революция, все в России думали, что она примет демократический республиканский характер и что Народный Жонд освободит на широких демократических началах крестьян, сражающихся за независимость родины.

Освобождение крестьян в России представляло весьма удобный случай для подобного действия. Личные обязательства крестьян к помещикам кончились 19 февраля 1863 года. Затем следовало выполнить очень долгую процедуру установления добровольного соглашения между помещиками и крепостными относительно величины и местонахождения надела. Размер ежегодных платежей за наделы (оцененные очень высоко) был утвержден правительством по стольку-то с десятины. Но крестьянам приходилось еще платить дополнительные суммы за усадебные земли, причем правительство определило лишь высшую норму; помещикам же предоставлялось или отказаться от дополнительных платежей, или удовольствоваться частью. Что же касается выкупа наделов, при котором

правительство платило помещикам полностью выкупными свидетельствами, а крестьяне обязаны были погашать долг в течение сорока девяти лет взносами по шести процентов в год, то эти платежи не только были чрезмерно велики и разорительны для крестьян, но не был определен также срок выкупа. Он предоставлялся воле помещика, и во многих случаях выкупные сделки не были заключены даже через двадцать лет после освобождения крестьян.

Такое положение вещей предоставляло польскому революционному правительству широкую возможность улучшить русский закон. Оно обязано было выполнить акт справедливости по отношению к крестьянам (положение их было так же плохо, а в некоторых случаях даже хуже, чем в России); оно могло выработать лучшие и более определенные законы освобождения крепостных. Но ничего подобного не было сделано. Верх одержала партия чисто националистическая и шляхетская, и великий вопрос об освобождении холопов был отодвинут на задний план. Вследствие этого русскому правительству открылась возможность заручиться расположением польских крестьян против революционеров.

Оно широко воспользовалось этой ошибкой. Александр II послал Н. Милютина в Польшу с полномочием освободить крестьян по тому плану, который последний думал осуществить в России, не считаясь с тем, разорит ли такое освобождение помещиков или нет.

– Поезжайте в Польшу и там примените против помещиков вашу красную программу, – сказал Александр II Милютину.

И Милютин вместе с князем Черкасским и многими другими действительно сделал все возможное, чтобы отнять землю у помещиков и дать крестьянам большие наделы.

Раз я встретился с одним из тех чиновников, которые действовали в Польше вместе с Милютиным и князем Черкасским.

– Мы имели полную возможность, – говорил он, передать всю землю крестьянам. Обыкновенно я начинал с того, что сзывал крестьянский сход. «Скажите сперва, какую землю вы владеете теперь?» Мне указывали ее. «Вся ли это земля, которая когда-либо принадлежала вам?» – спрашивал я. «Нет, – отвечали они, бывало, как один человек. – В былые годы вон те луга принадлежали нам; владели мы еще тем лесом и теми полями». Я предоставлял им высказать все, а затем говорил: «Ну, кто из вас может показать под присягой, что та земля была когда-то ваша?» Конечно, никто не выступал, потому что дело шло о давно прошедшем времени. Наконец вытаскивали вперед какого-нибудь дряхлого старика. Остальные говорили: «Он знает все; он может присягнуть». Старик начинал бесконечный рассказ про то, что видал в молодости, или про то, что слышал от отца; но я круто обрывал: «Покажи под присягой, что участок когда-то принадлежал общине, и земля будет ваша». И как только старик присягал – такой присяге можно слепо верить, – я составлял бумаги и объявлял сходу: «Теперь у вас нет никаких обязательств к вашим бывшим помещикам, вы простые соседи. Платите только по столько-то в год в казну. Усадьбы идут вместе с землей. Платить за них вам ничего не нужно».

Легко себе представить, какое впечатление все это произвело на крестьян. Мой двоюродный брат Петр Николаевич Кропоткин, брат того флигель-адъютанта, о котором я упоминал выше, был в Польше или в Литве с гвардейским уланским полком, в котором служил. Революция имела такой серьезный характер, что против поляков двинули из Петербурга даже гвардию. Теперь известно, что, когда Михаила Муравьева посылали в Литву и он пришел проститься с императрицей Марией Александровной, она сказала ему:

– Спасите хоть Литву!

Польша считалась уже утерянной.

– Вооруженные банды повстанцев держали весь край, – рассказывал мой двоюродный брат. – Мы не могли не только разбить, но и найти их. Банды нападали беспрестанно на наши небольшие отряды; а так как повстанцы сражались превосходно, отлично знали местность и находили поддержку в населении, то они оставались победителями в таких случаях. Поэтому мы вынуждены были ходить всегда большими колоннами. И вот мы ходили все время по всему краю, взад и вперед, среди лесов, а конца восстанию не предвиделось. Пока мы пересекали какую-нибудь местность, мы не встречали никакого следа повстанцев. Но как только мы возвращались, то узнавали, что банды опять появлялись в тылу и собирали патриотическую податъ. И если какой-нибудь крестьянин оказал услуги нашим войскам, мы находили его повешенным повстанцами. Так дело тянулось несколько месяцев, без всякой надежды на скорый конец, покуда не прибыли Милютин и Черкасский. Как только они освободили крестьян и дали им землю, все сразу изменилось. Крестьяне перешли на нашу сторону и стали помогать нам ловить повстанцев. Революция кончилась.

В Сибири я часто беседовал с ссыльными поляками на эту тему, и некоторые из них понимали ошибку, которая была сделана. Революция с самого начала должна явиться актом справедливости по отношению к «униженным и оскорбленным», а не обещанием поправки зла в будущем; иначе она, наверное, не удастся. К несчастью, часто случается, что вожди бывают так поглощены вопросами политики и военной тактики, что забывают самое главное. Между тем революционеры, которым не удается убедить массу, что для нее начинается новая эра, готовят верную гибель своему собственному делу.

Бедственные последствия революции для Польши известны и принадлежат уже истории. Никто еще доподлинно не знает, сколько тысяч человек погибло на поле битвы, сколько сотен повешено и сколько десятков тысяч человек было сослано во внутренние русские губернии и в Сибирь. Но, даже по официальным сведениям, обнародованным недавно, в одном лишь Литовском крае палач Муравьев, которому правительство поставило памятник, повесил собственной властью 128 поляков и сослал в Сибирь 9423 мужчины и женщины. По официальным сведениям, в Сибирь было сослано 18 672 человека; из них 10 407 в Восточную Сибирь, и я помню, что генерал-губернатор Восточной Сибири упоминал мне приблизительно ту же цифру: он говорил, что в его край в каторжные работы и на поселение прислано одиннадцать тысяч человек. Я видел их, видел и их страдания на соляном промысле Усть-Куте. В общем от шестидесяти до семидесяти тысяч человек, если не больше, были оторваны от Польши и сосланы в Европейскую Россию, на Урал, на Кавказ или в Сибирь.

Для России последствия были одинаково бедственны. Польская революция положила конец всем реформам. Правда, в 1864 и 1866 годах ввели земскую и судебную реформы, но они были готовы еще в 1862 году. Кроме того, в последний момент Александр II отдал предпочтение плану земской реформы, выработанному не Николаем Милютиным, а реакционной партией Валуева по австро-немецким образцам. Затем, немедленно после обнародования обеих реформ, значение их сократили, а в некоторых случаях даже уничтожили при помощи многочисленных «временных правил».

Хуже всего было то, что само общественное мнение сразу повернуло на путь реакции. Героем дня стал Катков, парадировавший теперь как русский «патриот» и увлекавший за собою значительную часть петербургского и московского общества. Он немедленно помещал в разряд «изменников» всех тех, кто еще дерзал говорить в реформах.

Волна реакции скоро добралась до нашей далекой окраины. Раз, в феврале или марте 1863 года, в Читу прискакал нарочный из Иркутска и привез бумагу. В ней предписывалось генералу Кукелю немедленно оставить пост губернатора Забайкальской области, вернуться в Иркутск и там дожидаться дальнейших распоряжений, «не принимая должности начальника штаба».

Почему так? Что все это означает? Про это в бумаге не было ни слова. Даже генерал-губернатор, личный друг Кукеля, не решился прибавить ни одного пояснительного слова к таинственной бумаге. Значила ли она, что Кукеля повезут с двумя жандармами в Петербург и там замуруют в каменный гроб, в Петропавловскую крепость? Все было возможно. Позднее мы узнали, что так именно и предполагалось. Так бы и сделали, если бы не энергичное заступничество графа Николая Муравьева-Амурского, который лично умолял царя пощадить Кукеля.

Наше прощание с Б. К. Кукелем и его прелестной семьей было похоже на похороны. Сердце мое надрывалось. В Кукеле я не только терял дорогого, близкого друга, но я сознавал также, что его отъезд означает похороны целой эпохи, богатой «иллюзиями», как стали говорить впоследствии – эпохи, на которую возлагалось столько надежд.

Так оно и вышло. Прибыл новый губернатор, добродушный, беззаботный человек. Видя, что терять время нельзя, я с удвоенной энергией принялся за работу и закончил проект реформ тюремного и городского самоуправления. Губернатор оспаривал мои доклады, делал возражения, а впрочем, подписал проекты, и они были отправлены в Петербург. Но там больше уже не желали реформ. Там наши проекты и покоятся по сию пору с сотнями других подобных записок, поданных со всех концов России. В столицах выстроили несколько «образцовых» тюрем – еще более ужасных, чем старые, не образцовые, – чтобы было что показать знатным иностранцам во время тюремных конгрессов. Но в 1886 году Кеннан нашел всю систему ссылки в таком же виде, в каком я ее оставил в 1867 году. Лишь теперь, через много лет, правительство вводит в Сибири новые суды и пародию на самоуправление; лишь теперь назначены снова комиссии для расследования системы ссылки[11].

Когда Кеннан, возвращаясь из своего путешествия из Сибири, приехал в Лондон, он на другой же день разыскал Степняка, Чайковского, меня и еще одного русского эмигранта.

Вечером мы собрались у Кеннана в небольшой гостинице близ Чаринг-Кросса. Видели мы Кеннана в первый раз, а предприимчивые англичане, которые до него брались изучить все касающееся Сибири и ссылки, не давши себе труда научиться хоть немного по-русски, приучили нас к недоверию. Поэтому мы подвергали путешественника строгому перекрестному допросу. К великому нашему изумлению, он не только отлично говорил по-русски, но знал все, что заслуживало внимания относительно Сибири. Мы, четверо, знали многих ссыльных, находившихся в Сибири, и осаждали Кеннана вопросами: «Где такой-то? Женат ли он? Счастлив ли в семейной жизни? Сохранился ли он?» Мы быстро убедились, что Кеннан был знаком со всеми.

Когда этот допрос кончился, я спросил:

- А не знаете ли вы, г-н Кеннан, построена каланча пожарная в Чите?

Степняк взглянул на меня, как будто упрекая за излишнюю пытливость. Но Кеннан расхохотался, и я тоже. Смеясь, мы перекидывались вопросами:

- Как? Вы знаете об этом?

- И вы тоже?

- Выстроили наконец?

- Да, по двойной смете!

И так далее. Наконец вмешался Степняк и наиболее суровым тоном, на какой лишь был способен при своем добродушии, заявил:

- Скажите же нам наконец, чему вы смеетесь?

Тогда Кеннан рассказал историю читинской каланчи, которую, вероятно, помнят читатели его книги. В 1855 году читинцы пожелали выстроить каланчу и собрали деньги для этого; но смету пришлось послать в Петербург. Она пошла к министру внутренних дел, но когда утвержденная смета вернулась через два года в Читу, то оказалось, что цены на лес и на труд значительно поднялись в молодом, разраставшемся городе. Это было в 1862 году, когда я жил в Чите. Составили новую смету и отправили в Петербург. История повторилась несколько раз и тянулась целых двадцать пять лет, покуда наконец читинцы потеряли терпение и выставили в смете почти двойные цифры. Тогда фантастическую смету торжественно утвердили в Петербурге. Таким образом Чита получила каланчу.

За последние годы нам часто приходилось слышать, что Александр II совершил большую ошибку, вызвав так много ожиданий, которых потом не мог удовлетворить. Таким образом, говорят, он уготовил свою собственную гибель. Из всего того, что я сказал, - а история маленькой Читы была историей всей России - видно, что Александр II сделал нечто худшее. Он не только пробудил надежды. Уступив на время течению, он побудил по всей России людей засесть за строительную работу; он побудил их выйти из области надежд и призраков и дал им возможность, так сказать, осязать, почти осуществить назревшие

реформы. Он заставил их узнать, что можно сделать немедленно и как легко это сделать. Александр II убедил этих людей пожертвовать частью их идеалов, которых нельзя было немедленно осуществить, и требовать только практически возможного в данное время. И когда они отлили свои идеалы в форму готовых законов, требовавших лишь подписи императора, чтоб стать действительностью, он отказался подписать. Ни один реакционер не высказывал и не смел высказать, что дореформенные суды, отсутствие городского самоуправления и старая система ссылки были хороши и достойны сохранения. Никто не дерзал утверждать этого. И тем не менее из страха сделать что-нибудь все оставили, как оно было. Тридцать пять лет вносили в разряд «подозрительных» всех тех, кто дерзал заметить, что нужны перемены. Из одного страха перед страшным словом «реформы» учреждения, осужденные всеми, признанные всеми за гнилые пережитки старого, были оставлены в нетронутом виде.

IV. Заселение Амурского края.

Плавание по Амуру. Первые опыты на сплаве. Тайфун. Командировка в Петербург

Я видел, что в Чите мне делать больше нечего, так как с реформами тут покончено, и весною того же 1863 года охотно принял предложение поехать со сплавом на Амур.

Все необъятное левое побережье Амура и берег Тихого океана, вплоть до залива Петра Великого... в течение двух столетий манили сибиряков... И вот явилась мысль выстроить по Амуру и по Уссури на протяжении 3500 с лишком верст цепь станиц и таким образом установить правильное сообщение между Сибирью и берегами Великого океана. Для станиц нужны были засельщики, которых Восточная Сибирь не могла дать. Тогда Муравьев прибег к необычным мерам. Ссылно-каторжным, отбывшим срок в каторжных работах и приписанным к кабинетским промыслам, возвратили гражданские права и обратили в Забайкальское казачье войско. Затем часть их поселили по Амуру и по Уссури. Возникли, таким образом, еще два новых казачьих войска.

Затем Муравьев добился полного освобождения тысячи каторжников (большею частью убийц и разбойников), которых решил устроить, как вольных переселенцев, по низовьям Амура. Отправляя их с Кары на новые места, Муравьев, перед тем как они сели на плоты, чтобы плыть вниз по Шилке и Амуру, произнес им речь: «С богом, детушки. Вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сделайте ее русским краем, начните новую жизнь» и так далее. Русские крестьянки почти всегда добровольно следуют в Сибирь за сосланными мужьями. Таким образом, поселенцы имели свои семьи. Но были и холостые, которые заметили Муравьеву: «Мужик без бабы – ничего; жениться нам нужно». Генерал-губернатор сейчас же согласился, велел освободить каторжанок и предложил им выбрать мужей. Времени терять было нельзя. Полая вода быстро спадала в Шилке, плотам следовало

сниматься. Тогда Муравьев велел поселенцам стать на берегу парами, благословил их и сказал: «Венчаю вас, детушки. Будьте ласковы друг с другом; мужья, не обижайте жен и живите счастливо».

Я видел этих новоселов лет шесть спустя после описанной сцены. Деревни были бедны; поля пришлось отвоевывать у тайги, но в общем мысль Муравьева осуществилась, а браки, заключенные им, были не менее счастливы, чем браки вообще. Добрый, умный епископ Амурский Иннокентий признал впоследствии эти браки и детей, рожденных в них, законными и приказал так и отметить в церковных книгах.

Менее счастлив был Муравьев с другим разрядом переселенцев. Нуждаясь в людях для заселения Восточной Сибири, он принял как колонистов две тысячи солдат из штрафных батальонов. Их распределили, как приемных сыновей, в казачьи семьи или же устроили артельными холостыми хозяйствами в деревнях Восточной Сибири. Но десять или двадцать лет казарменной жизни под ужасной николаевской дисциплиной, очевидно, не могли быть подготовительной школой для земледельческого труда. «Сынки» убегали от «отцов», присоединялись к бездомному, бродячему городскому населению, перебивались случайной работой, пропивали весь заработок, а затем, беззаботные, как птицы, дожидались, куда набегит новая работа.

Пестрые толпы забайкальских казаков, освобожденных каторжников и «сынков», поселенных наскоро и кое-как по берегу Амура, конечно, не могли благоденствовать, в особенности по низовьям реки и по Уссури, где каждый квадратный аршин приходилось расчищать из-под девственного субтропического леса; где проливные дожди, приносимые муссонами в июле, затопляли громадные пространства; где миллионы перелетных птиц часто выклевали хлеба. Все эти условия привели население низовьев в отчаяние, а затем породили апатию.

Таким образом, ежегодно приходилось отправлять целые караваны барж с солью, мукой, солониной и так далее для продовольствия как войск, так и переселенцев в низовьях Амура. В Чите для этого строили ежегодно около ста пятидесяти барж, которые и сплавлялись весной в половодье по Ингоде, Шилке и Амуру. Вся флотилия делилась на отряды в двадцать – тридцать судов, которыми заведовали казачьи офицеры и чиновники. Большинство из них не очень много понимало в навигационном деле; но на них можно было хоть положиться, что они не раскрадут провизию и не покажут ее потом затонувшей. Я был прикомандирован помощником к начальнику всего сплава этого года майору Малиновскому.

Мой первый опыт в новой роли сплавщика был совсем неудачен. Мне надлежало поспешить насколько возможно из Сретенска с несколькими баржами к известному пункту на верхнем Амуре и там сдать их. С этой целью приходилось взять команду из «сынков», о которых я говорил выше. Никто из них ничего не понимал в речном плавании. Немногим больше понимал и я. В день отправки пришлось собирать мою команду по кабакам. В пять часов утра, когда следовало сняться, некоторые были так пьяны, что их приходилось выкупать предварительно в реке, чтобы хоть несколько вытрезвить. Когда мы тронулись, мне пришлось их учить всему. Тем не менее днем дело шло не дурно. Баржи, сносимые быстрым течением, плыли по середине реки. Хотя моя команда и отличалась неопытностью, но ей не

было никакого расчета посадить суда на берег: для этого потребовалось бы специальное усилие. Но когда стемнело и наступила пора причалить наши неуклюжие, тяжело нагруженные баржи к берегу на ночь, то оказалось, что одна ушла далеко вперед от той, на которой я был; остановилась она лишь тогда, когда крепко наткнулась на камень у подножья страшно высокого, крутого утеса. Здесь баржа засела основательно. Уровень реки, поднятый ливнями, быстро падал. Мои десять «сынков», находившиеся на этой барже, конечно, не могли снять ее. Я поплыл в лодке в ближайшую станицу, чтобы позвать на помощь казаков, и в то же время отправил гонца к приятелю, казачьему офицеру, жившему в Сретенске, старому опытному сплавщику.

Наступило утро. На помощь явилось около сотни казаков и казачек, но под утесом было так глубоко, что невозможно было установить сообщение с берегом с целью разгрузить баржу. Когда же мы попробовали сдвинуть ее с камня, в дне образовалась пробоина, через которую хлынула вода, размывая наш груз: муку и соль. К великому ужасу моему, я видел множество рыбок, попавших через пробоину и теперь плававших в барже. Я беспомощно стоял, не зная, что делать. Есть очень простое средство в подобных случаях: нужно заткнуть пробоину кулем муки, который быстро всосется в отверстие. Образовавшаяся из теста кора не даст воде проникнуть через муку, но никто из нас этого не знал.

К счастью для меня, мы через несколько минут усмотрели вверх по реке баржу, плывшую к нам. Вряд ли обрадовалась так доведенная до отчаяния Эльза при виде плывущего к ней на лебедке Лоэнгрин, как возликовали мы, увидев неуклюжую баржу. Легкий голубой туман, висевший в этот ранний час над красавицей Шилкой, придавал еще большую поэзию нашему видению. То был мой приятель, казачий офицер, понявший из моей записки, что никакими человеческими силами не сдвинуть баржу, что она погибла. Он приплыл поэтому на пустой барже, чтобы спасти груз.

Пробоину заткнули; воду вычерпали, груз перенесли на новое судно, и на следующее утро я мог продолжать плавание. Этот маленький опыт был мне очень полезен, и вскоре я достиг назначения без дальнейших приключений, о которых стоило бы упомянуть. Мы всегда находили по вечерам небольшую полосу крутого, но сравнительно невысокого берега, чтобы причалить. Скоро затем на берегу быстрой и чистой реки пылали наши костры. А фоном бивуака был великолепный горный пейзаж. Трудно представить себе более приятное плавание, чем днем, на барже, сносимой по воле течения. Нет ни шума, ни грохота, как на пароходе. Порой приходится лишь раза два повернуть громадное кормовое весло, чтобы держать баржу среди реки. Любителю природы не сыскать лучших видов, чем по нижнему течению Шилки и на верхнем Амуре, где широкая и быстрая прозрачная река течет между горами, поросшими лесами, спускающимися к воде высокими, крутыми скалами, тысячи в две футов в высоту. Но эти самые скалы делают сообщение с берегом крайне затруднительным. Проехать можно только верхом горной тропой. Это я испытал на личном опыте осенью того же года. В Восточной Сибири зовут последние семь перегонов по Шилке (около 180 верст) «семью смертными грехами». Эта часть сибирской железной дороги, если когда-нибудь ее проложат здесь, обойдется в страшно большие деньги – гораздо дороже, чем участок канадской железной дороги, проходящей в скалистых горах, в ущелье реки Фразер[12].

Сдав мои баржи, я сделал около 1500 верст вниз по Амуру в почтовой лодке. Середина ее покрыта навесом, как кибитка, а на носу стоит ящик, набитый землей, на которой разводят огонь. Гребцов у меня было трое. Нам приходилось торопиться, и мы гребли поочередно весь день, а ночью предоставляли лодке плыть по течению, держа ее по середине реки. Я сидел тогда на корме часа четыре, чтобы удерживать лодку в фарватере и не угодить в протоку, и эти ночные дежурства были полны невыразимой прелести. На небе сиял полный месяц, а черные горы отражались в заснувшей прозрачной реке.

Гребцы мои были из «сынков», прогнанных сквозь строй, а теперь бродяживших из города в город и не всегда признававших права собственности. А между тем я имел на себе тяжелую сумку с порядочным количеством серебра, бумажек и меди. В Западной Европе такое путешествие по пустынной реке считалось бы опасным, но не в Восточной Сибири. Я сделал его преблагополучно, не имея при себе даже старого пистолета. Вообще мои «сынки» оказались очень хорошими людьми, только подъезжая к Благовещенску, они затосковали.

– Ханшина (китайская водка) уж очень дешева тут, – скорбели они. – Водка крепкая; как выпьешь, сразу с ног сшибет с непривычки!

Я предложил им оставить следуемые им деньги у одного приятеля, с тем чтобы он выдал плату моим «сынкам», когда усадит их на обратный пароход.

– Не поможет, – мрачно повторяли они, – уж кто-нибудь да поднесет чашку. Дешева, подлая. А как выпьешь, так и сшибает с ног.

«Сынки» огорчались недаром. Когда через несколько месяцев я возвращался обратно через Благовещенск, то узнал, что один из моих «сынков», как народ звал их в городе, действительно попал в беду. Пропив последние сапоги, он украл что-то и попал в тюрьму. Мой приятель в конце концов добился его освобождения и усадил на обратный пароход.

Лишь те, кто видел Амур или знает Миссисипи и Янтцекианг, могут себе представить, какой громадной рекой становится Амур после слияния с Сунгари и какие громадные волны ходят по реке в непогоду. В июле во время проливных дождей, обусловленных муссонами, вода в Сунгари, Уссури и в Амуре страшно поднимается. Полая вода заливают или же смывает тысячи островов, поросших тальником. Река достигает трех, а в некоторых местах даже семи верст ширины и заливается в озера, которые тянутся цепью по сторонам главного русла. Свежий восточный ветер разводит на реке и в протоках невероятное волнение. Еще хуже, когда с Китайского моря налетит тайфун.

Мы испытали это верстах в четырехстах ниже Хабаровска. Начальника сплава Малиновского я догнал в Благовещенске. Теперь мы шли с ним по нижнему Амуру в большой крытой лодке, которую он оснастил парусами так, что она могла идти в бейдевин; и, когда начался шторм, нам удалось добраться до заветерья и укрыться в протоке. Здесь мы простояли двое суток, покуда ревела буря. Ярость ее была так велика, что когда я отважился выйти в тайгу за несколько сот шагов, то вынужден был возвратиться, так как ветер валил кругом меня деревья. Мы начали сильно беспокоиться об участи наших барж. Было очевидно, что если они отчалили утром, то никак не могли укрыться от ветра. Их должно было пригнать к тому

берегу, где ярость бури и волн особенно свирепствовала, где громадные волны должны были бить их о крутой берег. В таком случае гибель барж была неминуема. Таких ударов они не могли бы выдержать. Мы почти были уверены, что весь сплав разбит.

Мы тронулись в путь, как только ослабела ярость бури. По расчетам мы скоро должны были обогнать два отряда барж, но прошел день и два, а караванов не было и следа. Где-то, у одного крутого берега, виднелись какие-то бревна, но ни складов, ни людей не было видно. Малиновский потерял сон и аппетит и выглядел так, как будто только что перенес тяжелую болезнь. С утра до вечера он сидел неподвижно на палубе и шептал: «Все пропало, все пропало!» В этой части Амура поселения редки, и никто не мог дать нам никаких сведений. Началась новая буря. Вечером, когда мы добрались наконец до одной деревни, нам сказали, что баржи не проходили, но что накануне много обломков плыло по реке. Не подлежало сомнению, что погибло самое меньшее сорок барок с грузом в сто двадцать тысяч пудов. Это означало неизбежный голод в низовьях Амура в следующую весну, если запасы не подоспеют вовремя, потому что близилась осень, навигация скоро должна была прекратиться, а телеграфа вдоль реки тогда еще не существовало.

Мы устроили совет и решили, что Малиновский поплывет возможно скорее к устью Амура в Николаевск. Быть может, до прекращения навигации удастся закупить хлеб в Японии. Я же должен был поспешить вверх по реке, чтобы определить потери, и затем торопиться в Читу как придется – в лодке, верхом или на пароходе, если таковой попадется. Чем раньше удастся предупредить читинские власти и выслать вниз провиант, тем лучше. Быть может, запасы достигнут осенью верховьев Амура, откуда их удастся сплавить в низовья по первой воде. С голодом легче будет бороться, если запасы придут хотя бы на несколько недель или даже на несколько дней раньше.

Мое обратное путешествие в три тысячи верст я начал в маленькой лодке, меняя гребцов в каждой деревне, то есть приблизительно через каждые тридцать верст.

Я очень медленно подвигался вперед, но пароход с низовьев мог прийти не раньше как через две недели, а за это время я мог быть уже на месте крушения и определить, спасена ли какая-нибудь часть груза. Затем в устье Уссури, в Хабаровске, я мог бы сесть на пароход. Лодки были жалкие, начались опять бури. Мы держались, конечно, близко к берегу, но приходилось перерезывать несколько довольно широких протоков Амура. В этих местах гонимые ветром волны грозили залить нашу утлую посудину. Раз нам пришлось пересечь устье протока, почти в версту шириной. Короткие волны поднимались высокими буграми. Два крестьянина, сидевшие на веслах, бледные как полотно с ужасом смотрели на гребни расходившихся волн, их посиневшие губы шептали молитву. Но державший корму пятнадцатилетний мальчик не потерялся. Он скользил между волнами, когда они опускались, когда же они грозно поднимались впереди нас, он легким движением весла направлял лодку носом через гребни. Лодку постоянно заливало, и я отливал воду старым ковшом, причем убеждался, что она набирается скорее, чем я успеваю вычерпывать. Одно время в лодку хлестнули два таких больших вала, что по знаку дрожащего гребца я отстегнул тяжелую сумку с серебряными и медными деньгами, висевшую у меня через плечо... Такие переправы бывали у нас несколько дней подряд. Я, конечно, не понуждал гребцов, но они знали, почему я тороплюсь, и сами решали в известную минуту, что можно

попытаться. «Семи смертей не бывать, а одной не миновать», – говорили тогда гребцы, крестились и брались за весла. Через несколько дней я добрался наконец до того места, где произошло главное крушение нашего сплава. Буря разбила сорок четыре баржи. Разгрузить их во время бури было невозможно, так что спасли лишь очень небольшую часть провианта. Около ста тысяч пудов муки погибло в Амуре. С этой грустной вестью тронулся я дальше в путь.

Через несколько дней меня нагнал пароход, медленно ползший вверх по течению, и мы причалили к нему. От пассажиров я узнал, что капитан допился до чертиков и прыгнул через борт, его спасли, однако, и теперь он лежал в белой горячке в каюте. Меня просили принять командование пароходом, и я согласился. Но скоро, к великому моему изумлению, я убедился, что все идет так прекрасно само собою, что мне делать почти нечего, хотя я и прохаживался торжественно весь день по капитанскому мостику. Если не считать нескольких действительно ответственных минут, когда приходилось приставать к берегу за дровами, да порой два-три одобрительных слова кочегарам, чтобы убедить их тронуться с рассветом, как только выяснятся очертания берегов, – дело шло само собою. Лоцман, разбиравший карту, отлично справился бы за капитана. Все обошлось как нельзя лучше, и в Хабаровске я сдал пароход Амурской компании и пересел на другой пароход.

То пароходом, то верхом я добрался наконец до Забайкалья. Меня мучила все время мысль о голоде, который может начаться весной в низовьях Амура, а потому, заметив, что наш пароход шел очень тихо вверх по верхнему Амуру, я сошел и поехал, сопровождаемый казаком, верхом горной тропой по берегу Аргуни. Эти триста верст – Газимурского хребта – представляют одно из самых диких мест в Сибири. Я ехал весь день, только в полночь останавливался где попало в лесу, чтобы отдохнуть до рассвета. Я мог выгадать, таким образом, всего десять или двенадцать часов, но и они имели значение, так как с каждым днем приближалось прекращение навигации. Ночью на реке появлялась уже шуга. Наконец я встретил в Каре забайкальского губернатора и моего приятеля полковника Педашенко, который сейчас же позаботился о немедленной отправке нового транспорта. Я же поспешил с докладом в Иркутск.

Там все удивились, как это я мог проехать так скоро длинный путь, но я совсем выбился из сил и спал в течение недели так много, что теперь стыдно даже сказать.

– Вы хорошо отдохнули? – спросил меня генерал-губернатор дней через восемь или десять после моего приезда. – Можете ли вы выехать завтра курьером в Петербург, чтобы лично доложить о гибели барж?

Ехать курьером в Петербург значило отмахать в двадцать дней – не больше – в осеннее бездорожье 4800 верст до Нижнего Новгорода, откуда я мог уже ехать до Петербурга по машине, это значило мчаться день и ночь на перекладных, в кибитке, потому что никакой рессорный экипаж не выдержал бы такой длинной дороги по мерзлым выбоинам. Но повидать брата было слишком большим соблазном, чтобы устоять, и я тронулся в путь в следующую же ночь. В Барабе и на Урале путешествие превратилось в настоящую пытку. Бывали дни, когда колеса кибиток ломались на каждой станции. Реки только что начинали замерзать. Через Обь и Иртыш я переправлялся, когда уже густо шел лед, который,

казалось, вот-вот затрет нашу лодку. Но когда я добрался до Томи, которая стала всего накануне, крестьяне наотрез отказались переправить меня. После долгих переговоров они стали требовать с меня «расписку».

– Какую вам расписку? – спросил я.

– А вот, напишите нам бумагу: «Я, мол, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что утонул по воле божьей, а не по вине крестьянской», – и дайте нам эту расписку.

– Отлично – на другом берегу!

Все повеселели и решили, что шествие будет открывать молодой парень (его я выбрал за смелый и смысленный взгляд), пробуя прочность льда пешней. Вторым пойду я с сумкой с бумагами через плечо, и нас обоих будут держать на длинных вожжах идущие в некотором отдалении крестьяне. Один из них понесет охапку соломы, чтобы бросить на лед, если он окажется не крепким.

Так и сделали, и только в одном месте пришлось подстилать солому для вящей безопасности.

Наконец я добрался до Москвы, где брат встретил меня на вокзале, и мы тотчас же вместе поехали в Петербург.

Молодость – великое дело. После этого ужасного путешествия, продолжавшегося непрерывно двадцать четыре дня и ночи, я прибыл рано утром в Петербург, сдал в тот же день бумаги и не преминул навестить одну из теток или, точнее, кузин. Она сияла.

– Сегодня у нас танцуют. Придешь ли ты? – спросила она.

– Конечно, – был мой ответ.

И не только пришел, но танцевал еще до раннего утра.

Побывавши в Петербурге у властей, я понял, почему именно меня послали с докладом. Сначала никто не хотел верить крушению барж.

– Вы сами были на месте? Видели ли вы обломки вашими собственными глазами? Уверены ли вы вполне в том, что они не украли просто груз и не показали вам для отвода глаз обломки нескольких барж? – Вот на какие вопросы я должен был все время отвечать.

Высшие сановники, заведовавшие в Петербурге сибирскими делами, были восхитительны в своем полном неведении края.

– Mais, mon cher, – сказал мне один из них, Бутков (он всегда говорил со мной, мешая русский с французским), – возможно ли, чтобы, например, на Неве погибли сорок барж и чтобы никто не поспешил спасти их?

- Нева! – воскликнул я, – представьте себе три, четыре Невы рядом, и вы получите Амур в низовьях.

- Неужели он так широк? – Через две минуты мой штатский генерал на отменном французском языке болтал о разных разностях.

- Когда вы в последний раз видели художника Шварца? Не правда ли, его «Иван Грозный» – удивительная картина? Знаете ли вы, почему они хотели арестовать Кукеля? – И он сообщил мне о перехваченном письме, в котором Кукеля просили оказать содействие польскому восстанию. – А знаете, что Чернышевский арестован? Он теперь сидит в крепости.

- За что? Что он сделал? – спросил я.

- Ничего особенного! Но знаете, mon cher, государственные соображения!.. Такой талантливый человек, удивительно талантливый! Притом такое влияние на молодежь. Вы понимаете, конечно, правительство не может терпеть этого. Решительно не может! Intolerable, mon cher, dans un Etat bien ordonne[13].

Граф Н. П. Игнатъев не задавал много вопросов: он очень хорошо знал Амур и знал также Петербург. Среди шуток и острот по поводу Сибири, которые сыпались у него с удивительной быстротой, Игнатъев заметил:

- Как это хорошо вышло, что вы были на месте и видели крушение. Они устроили это очень ловко, пославши вас. Умно сделано. Сперва никто не хотел верить крушению барж, думали, что новое мошенничество. Но вы хорошо известны здесь как паж и недолго пробыли в Сибири, так что не стали бы выгораживать их плутовства. Вам здесь доверяют.

Единственный человек в Петербурге, отнесшийся вполне серьезно к делу, был военный министр Милютин. Он задал мне ряд вопросов, которые все шли к делу, и сразу понял всю суть. Весь наш разговор шел короткими фразами – без излишней торопливости, но и без лишних слов.

- Вы думаете, что на низовья Амура лучше всего доставлять провиант морем, а на остальные части – через Читу? Очень хорошо. Ну, а если и в будущем году случится буря, не погибнет ли опять весь сплав?

- Едва ли, если сплав будут сопровождать два буксирных парохода.

- Довольно двух?

- Если бы у нас был хоть один пароход, потери были бы уже не так велики.

- Очень возможно. Сделайте мне доклад письменно. Изложите все, что сказали, совершенно просто, без всяких формальностей: военному министру больше ничего.

V. Возвращение в Иркутск.

Путешествие по Маньчжурии. Перевал через Хинган. Открытие вулканической области Уйюн Холдонзи

Я недолго оставался в Петербурге и в ту же зиму возвратился в Иркутск. Через несколько месяцев должен был приехать туда и брат, принятый офицером в иркутский казачий полк.

Не знающие Сибири думают, что зимнее путешествие ужасно тяжело. Но в сущности оно легче, чем в какое бы то ни было другое время года. Сани несутся по накатанной дороге. Холод сильный, но он переносится сравнительно легко, когда лежишь в кошеве, как это принято в Сибири, закутанный в двойную меховую полость, то не особенно страдаешь от мороза даже в сорок или пятьдесят градусов ниже нуля. Путешествуя как курьер, то есть с быстрыми перепряжками и с остановками лишь раз в сутки, на один час для обеда, я через девятнадцать дней после выезда из Петербурга был уже в Иркутске. В сутки я проезжал средним числом триста верст, а тысячу верст от Красноярска до Иркутска сделал в семьдесят часов. Мороз стоял не особенно сильный, дорога была отличная, и ямщики хорошо получали «на водку». Тройке быстрых лошадок как будто доставляло удовольствие мчаться легкую кошеву по горам и долам, по замерзшим рекам и среди тайги, сверкавшей на солнце в серебряном уборе.

Меня вскоре назначили чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири по казачьим делам. Жить приходилось в Иркутске, но дела, собственно, было немного. Из Петербурга отдали молчаливый приказ – не предлагать никаких перемен, а предоставить делам идти по заведенному порядку. Вследствие этого я тем охотнее принял предложение заняться географическими исследованиями в Маньчжурии.

Взглянув на карту Азии, вы увидите, что русская граница с Китаем, которая в общем идет по пятидесятому градусу северной широты, в Забайкалье круто поворачивается на северо-восток. На протяжении четырехсот верст она идет вниз по Аргуни; а затем, дойдя до Амура, поворачивает вниз по Амуру на юго-восток, вплоть до Благовещенска, который лежит под тем же пятидесятым градусом. Таким образом, между юго-восточным углом Забайкальской области (Ново-Цурухайтуем) и Благовещенском на Амуре расстояние по прямой линии всего семьсот верст; но по Аргуни и Амуру – более полутора тысяч верст, кроме того, что сообщение по Аргуни, которая не судоходна, крайне затруднительно: в ее низовьях нет другой дороги, кроме горной тропы.

В Забайкалье очень много скота, а потому казаки, богатые гуртовщики, жившие в юго-восточном углу области, желали установить прямое сообщение с средней частью Амура, где был бы хороший сбыт на их скот. Торгуя с монголами, они слышали от них, что до Амура не трудно добраться, если идти на восток через Большой Хинган. Держась этого направления,

выйдешь на старую китайскую дорогу, пересекающую Хинган и ведущую в маньчжурский город Мерген (на притоке Сунгари реке Нонни), а оттуда до Амура – великолепный колесный тракт.

Мне предложили принять начальство над торговым караваном, который казаки хотели снарядить, чтобы найти эту дорогу, на что я согласился с величайшим удовольствием. Ни один европеец никогда еще не посещал этих мест; русский топограф Ваганов, направившийся туда незадолго перед тем, был убит. Лишь два иезуита при императоре Канси проникли с юга до Мергена и определили его широту. Весь же громадный край к северу, шириной верст в 750 и длиной верст в 900, был совершенно неизвестен. Я, конечно, ознакомился с источниками. Но даже у китайских географов ничего нет об этом крае. Соединение Амура с Забайкальем имело между тем громадное значение. Теперь Ново-Цурухайтуй стал отправным пунктом маньчжурской части Сибирской железной дороги. Таким образом, мы оказались пионерами великого дела.

Представлялось, впрочем, одно затруднение. По договору богдыхан давал русским право торговать в Китайской империи и Монголии; Маньчжурия же не была упомянута. Одинаково свободно можно было толковать, что она входит и не входит в договор. Китайские власти толковали договор на свой лад, русские на свой. Кроме того, говорилось лишь о купцах, и офицеру вовсе не разрешили бы въезд в Маньчжурию. Мне приходилось, стало быть, пробираться как торговцу. В Иркутске я накупил и взял на комиссию различные товары и оделся купцом. Генерал-губернатор вручил мне паспорт: «Иркутскому второй гильдии купцу Петру Алексееву с товарищами», и, шутя, просил меня ни в каком случае не выдавать его, назвав себя, «даже если китайские власти арестуют вас и повезут в Пекин, а оттуда через Гоби, до русской границы, в клетке на спине верблюда» (так китайцы всегда возят арестантов через Монголию). Я принял, конечно, все условия. Перед искушением посетить край, в котором ни один европеец никогда еще не бывал, путешественнику трудно было устоять.

Скрыть, кто я, было не так легко, покуда мы ехали по Забайкалью. Казаки по части проницательности и пытливости заткнут за пояс монголов. Когда чужой приезжает в деревню, хозяин избы, хотя и встречает гостя с большим радушием, тем не менее подвергает его настоящему допросу.

– Однако дорога трудная, – начинает он. – Далеконько от Читы? («Однако» значит «должно быть»).

– А особенно если ехать, может быть, не из Читы, а из самого Иркутска?

– Торгуете? Много торговых людей проезжает здесь. Однако и до Нерчинского доедете? В ваши годы тоже женаты бывают. Хозяйка, пожалуй, осталась дома? Деток тоже имеете? Тоже, поди, не все парнишки: и дочери есть?

И так – добрых полчаса. Командир местной казачьей бригады, капитан Буксгевден, отлично знал своих казаков, и мы приняли предосторожности. В Чите и Иркутске мы часто устраивали любительские спектакли и ставили пьесы Островского. Я в них играл несколько

раз, притом с таким увлечением, что написал даже раз брату восторженное письмо, в котором сообщал свое решительное намерение бросить службу и пойти в актеры. Большею частью я играл молодых купчиков и поэтому хорошо изучил их манеру говорить и ухватки, в том числе, конечно, чаепитие с блюдечка (что постиг еще в Никольском). Теперь выпадал случай сыграть купца не на сцене, а в жизни.

– Присаживайтесь, Петр Алексеевич, – говорил мне капитан Буксгевден, когда на столе почтовой станции в станице появлялся пыхтевший самовар.

– Покорно благодарим-с, и здесь посидим! – говорил я, садясь вдали на кончик стула и принимаясь пить чай совсем по-московски. Буксгевден надрывался от смеха, глядя, как я, выпучив глаза, дул на блюдечко и грыз кусочек сахара, с которым выпивал три-четыре стакана.

Мы знали, что казаки скоро все проведуют; но самое важное было выиграть несколько дней, чтобы переправиться через границу, куда не станет известно, кто я. По-видимому, я играл мою роль удачно, потому что казаки принимали меня всюду за мелкого торговца. В одной из станиц старуха хозяйка окликнула меня.

– За тобой едет кто-нибудь еще? – спросила она.

– Не слышал, бабушка.

– Как же, сказывали, какой-то князь Рапотский что ли должен проехать. Будет он, нет ли?

– Да, точно, бабушка, – отвечал я. – Их сиятельство действительно хотели приехать из Иркутска. Ну да где же им в такую погоду! Так они и остались в городе.

– Что и говорить, где уж ему ехать!

Короче сказать, мы беспрепятственно переехали через границу. Нас было, кроме меня, одиннадцать казаков да один тунгус, все верхами. Мы гнали на продажу косяк в сорок лошадей и имели две повозки, из которых одна одноколка принадлежала мне. В ней я вез на продажу сукно, плис, позументы и тому подобные товары. С конем и одноколкой справлялся я совершенно один. Мы выбрали старшиной каравана одного казака для дипломатических переговоров с китайскими властями. Все казаки говорили по-монгольски, а тунгус понимал по-маньчжурски. Казаки, конечно, знали, кто я; один из них видел меня в Иркутске; но никто не выдал меня, так как все понимали, что от молчания зависит успех предприятия. На мне был такой же синий бумажный халат, как и на остальных казаках, и китайцы до такой степени не замечали меня, что я мог свободно делать съемку при помощи буссоли. Только в первый день, когда нас осаждали всякого рода китайские солдаты в надежде получить еще чашку водки, я должен был украдкой справляться с буссолью и записывал засечки и расстояние в кармане, не вынимая бумаги. Мы совсем не имели при себе оружия. Один только тунгус, который собирался жениться, вез с собою фитильное – даже не кремневое – оружие, и из него он убивал косуль, шкуры которых припасал, чтобы уплатить калым; а мясо мы съедали.

Когда китайские солдаты убедились, что больше водки не получают, они оставили нас одних. И мы пошли на восток, пробираясь, как умели, в горах и долинах. Через четыре или пять дней мы действительно вышли на китайскую дорогу, которая должна была нас привести через Хинган в Мерген.

К великому удивлению, перевал через горный хребет, который кажется на карте таким грозным и страшным, в сущности оказался очень легок. Мы нагнали по дороге крайне жалкого на вид старого китайского чиновника, ехавшего в одноколке. Он медленно плелся впереди нашего каравана. По характеру местности видно было, что мы поднялись на большую высоту. Почва стала болотистой, а дорога грязной. Виднелась лишь скудная трава, деревья встречались тонкие, малорослые, часто искривленные и покрытые лишаями. Справа и слева поднимались гольцы. Мы уже думали о тех трудностях, которые встретим при перевале через хребет, когда увидели, что старый китайский чиновник остановился и вылез из своей таратайки у обо (кучи камней и ветвей, к которым привязаны конские волосы и тряпочки). Он выдернул несколько волос из гривы своего коня и навязывал их на ветвь.

- Что это такое? - спросили мы.

- Обо! Отсюда воды текут уже в Амур.

- И это весь Хинган?

- Да весь. До самого Амура нет более гор. Дорога идет в долинах между горами.

Сильное волнение охватило весь наш караван.

- Отсюда реки текут уже в Амур! В Амур! - восклицали казаки. Постоянно они слышали от стариков рассказы про великую реку, по берегам которой растет в диком виде виноград и тянутся на сотни верст степи, могущие дать богатство миллионам людей... Казаки слышали про далекий путь до нее, про затруднения первых засельщиков и про благосостояние родственников, поселившихся в верховьях Амура. И теперь мы нашли к его берегам короткий путь! Перед нами был крутой спуск, и дорога вниз шла зигзагами до небольшой речки, которая пробивалась по довольно широкой долине среди застывшего моря гор и текла в Нонни. До Амура больше не было препятствий: Хинган в сущности не горный хребет, а окраинный хребет высокого плоскогорья.

Всякий путешественник легко представит себе мой восторг при виде этого неожиданного географического открытия. Что касается казаков, то они спешили и в свою очередь привязывали к ветвям обо по пучку волос, выдернутых из конских грив. Сибиряки вообще побаиваются языческих богов. Они не очень высоко ставят их, но так как считают их способными на всякую пакость, то предпочитают лучше не ссориться с ними. Отчего не подкупить их небольшим знаком внимания?

- Смотрите, что за странное дерево: дуб, должно быть! - восклицали казаки, когда мы спускали с плоскогорья.

Дуб в Сибири не растет и встречается лишь на восточном склоне высокого плоскогорья.

– Глядите, орешник! – говорили казаки дальше. – А это что за дерево? – спрашивали они при виде липы или же других деревьев, не растущих в Сибири, но составляющих часть маньчжурской флоры. Северяне, много лет мечтающие про теплый край, были теперь в восторге. Лежа на земле, покрытой роскошной травой, они жадно вглядывались в нее и, казалось, вот-вот примутся целовать ее. Теперь казаки горели нетерпением как можно скорее добраться до Амура. Когда мы две недели спустя заночевали в последний раз в тридцати верстах от реки, они стали нетерпеливы, как дети, начали седлать коней вскоре после полуночи и убедили меня тронуться в путь задолго до рассвета. Когда же наконец с гребня холма мы увидели синие воды Амура, то в глазах бесстрастных сибиряков, которым вообще чуждо поэтическое чувство, загорелся восторг...

Между тем полуслепой китайский чиновник, с которым мы вместе перевалили через Хинган, облачился в свой синий халат и в форменную шапку, с стеклянным шариком на ней, и на другой день утром объявил нам, что не позволит идти дальше. Наш старшина принял чиновника и его писаря в палатке. Старик выставлял различные доводы против нашего дальнейшего путешествия, повторяя то, что нашептывал ему «божко» (писарь). Он желал, чтобы мы стали лагерем и ждали, покуда он пошлет наш паспорт в Пекин и получит оттуда распоряжение. Мы наотрез отказались. Тогда старик стал придирается к нашему паспорту.

– Что это за паспорт? – говорил он, глядя с презрением на несколько строк, по-русски и по-монгольски написанных на обыкновенном листе писчей бумаги и скрепленных сургучной печатью. – Вы сами могли написать его и припечатать пятаком. Вы взгляните на мой паспорт. Это стоит посмотреть! – Он развернул пред нами лист в два фута длиной, весь исписанный китайскими знаками.

Я спокойно сидел в стороне во время совещания и укладывал что-то в сундуке, когда мне попался номер «Московских ведомостей», на которых, как известно, помещается государственный герб.

– Покажи ему, – сказал я старшине.

Он развернул громадный лист и показал на орла.

– Неужто тут все про вас написано? – с ужасом спросил старик.

– Да, все про нас, – ответил, не моргнув даже глазом, наш старшина.

Старик, как настоящая приказная крыса, был совершенно ошеломлен такой массой письма. Покачивая головой, он поглядывал одобрителем на каждого из нас. Но «божко» опять что-то зашептал, и чиновник в конце концов заявил, что не позволит нам идти дальше.

– Довольно разговаривать, – сказал я старшине, – вели седлать коней.

Того же мнения были и казаки, и наш караван тронулся в путь. Мы распрощались со стариком, обещая ему донести по начальству, что он употребил все меры, чтобы не дать нам вступить в Маньчжурию; и если мы все-таки вступили, то виноваты уже мы сами.

Через несколько дней после этого мы были в Мергене, где торговали немного, и вскоре добрались до китайского города Айгунь, на правом берегу Амура, немного ниже Благовещенска. Таким образом, мы открыли прямой путь и, кроме того, еще несколько интересных вещей: характер окраинного хребта в большом Хингане, легкость перевала, третичные вулканы округа Уйюн Холдонзи, долго составлявшие для географов загадку, и так далее. Теперь другие путешественники уже подтвердили наше открытие, а из Старо-Цурухайтуя, через Хинган, пересекая его недалеко от того места, где мы спустились с высокого плоскогорья, идет большая железная дорога к Великому океану. Не могу сказать, чтобы я проявил большие коммерческие таланты: в Мергене, например, я упорно запрашивал (на ломаном маньчжурском языке) за часы тридцать пять рублей, тогда как китаец давал за них сорок пять, но казаки расторгвались отлично. Они продали с большой выгодой всех своих лошадей. А когда были проданы ими и мои два коня, товары и палатка, то оказалось, что экспедиция обошлась правительству всего в двадцать два рубля.

VI. Плавание по Сунгари. Гирин. Приятель-китайцы. Исследование Западных Саян. Олекминско-Витимская экспедиция. Уроки, вынесенные из Сибири

Все это лето я путешествовал по Амуру. Я спустился до самого устья реки или, точнее, до лимана, до Николаевска, и здесь встретился с генерал-губернатором, которого сопровождал на пароходе вверх по Уссури. А осенью того же года я сделал еще более интересное путешествие по Сунгари, до самого сердца Маньчжурии, вплоть до Гирина.

Многие реки в Азии образуются из слияния двух одинаково мощных потоков, так что географу трудно определить, какую реку следует считать главной и какую – притоком. Слияние Ингоды с Ононом образует Шилку, Шилка и Аргунь составляют Амур, а Амур, слившись с Сунгари, становится той громадной рекой, которая поворачивается на северо-восток и впадает в Тихий океан под суровыми широтами Татарского пролива.

До 1864 года великую маньчжурскую реку знали очень мало. Все скудные сведения о ней восходили ко времени иезуитов.

Теперь, когда имелся в виду ряд исследований о Монголии и Маньчжурии, мы, молодежь, настойчиво убеждали генерал-губернатора в необходимости исследовать Сунгари. Нам казалось почти обидой то, что у порога, так сказать, Амура лежит громадный край, так же мало известный, как какая-нибудь африканская пустыня. И вот генерал Корсаков решил послать пароход вверх по Сунгари под предлогом отвезти дружеское письмо к генерал-

губернатору Гиринской провинции. Послание должен был везти наш ургинский консул Шишмарев, и в состав экспедиции вошли доктор Конради, астроном Усольцев, два топографа и я. Мы находились под начальством полковника Черняева. Нам дали маленький пароход «Уссури», который тащил на буксире баржу с углем, и с нами ехали на барже двадцать пять солдат, ружья которых тщательно спрятали под углем.

Все было устроено очень поспешно. На пароходе не было никаких приспособлений для нас, но мы все горели энтузиазмом и потому охотно поместились как попало в тесных каютах, один из нас должен был спать на столе. Когда мы тронулись, то оказалось, что нет даже вилок и ножей для всех, не говоря уже о других принадлежностях. Один из нас поэтому за обедом пользовался своим перочинным ножом, а мой китайский нож с двумя палочками вместо вилки явился желанным пополнением нашего хозяйства.

Плаванье вверх по Сунгари не особенно легко. В своем нижнем течении великая река проходит по такой же изменности, как Амур, и так мелка, что, хотя наш пароходик сидел в воде на три фута, мы не всегда могли найти достаточно глубокого фарватера. Бывали дни, когда мы проходили всего 60 верст и беспрестанно слышали, как скрипел песок под килем. То и дело приходилось посылать лодку, чтобы расследовать путь. Но наш молодой капитан решил добраться до Гирина непременно раньше конца осени, и мы подвигались каждый день. Чем дальше мы шли, тем река становилась красивее и удобнее для плавания. Когда же мы оставили позади себя песчаные пустыни при слиянии Сунгари с Нонни, подвигаться стало легко и приятно. Таким образом мы добрались через несколько недель до главного города этой провинции Маньчжурии. Капитан Васильев и его товарищ Андреев сняли великолепную карту реки. К сожалению, время не терпело, и мы лишь изредка приставали у какого-нибудь города или деревни. Поселения вдоль берегов реки редки. В нижнем течении мы видели лишь низины, заливаемые ежегодно во время половодья, несколько дальше на сотни верст вдоль берегов тянутся песчаные дюны, и только в верхней части Сунгари, ближе к Гирину, берега густо населены.

Наступала уже поздняя осень. Начались заморозки, и нужно было торопиться в обратный путь, так как мы не могли зимовать на Сунгари. Таким образом, мы видели Гирин, но говорили лишь с двумя переводчиками, являвшимися ежедневно на пароход. Цель путешествия, однако, была достигнута, мы убедились, что река судоходна, и сняли подробную карту Сунгари от устья до Гирина. Руководствуясь ею, мы могли идти теперь полным ходом, без приключений. Раз, однако, мы сели на мель. Гиринские власти, больше всего боявшиеся, чтобы мы не зазимовали на реке, сейчас же прислали нам на помощь двести китайцев, и нам удалось сняться. Когда сотня китайцев стояла в воде, безуспешно работая стягами, чтобы сдвинуть пароход, я соскочил в воду, схватил стяг и запел «Дубинушку», чтобы под ее звуки разом толкать пароход. Китайцам это очень понравилось, и при неопишуемых криках их тонких голосов пароход наконец тронулся и сошел с мели. Это маленькое приключение установило между нами и китайцами самые лучшие отношения. Я говорю, конечно, о народе, который, по-видимому, очень не любит дерзких маньчжурских властей.

Мы останавливались у нескольких китайских деревень, населенных ссыльными из Небесной империи, и всюду нас принимали очень дружелюбно. Остался у меня в памяти в особенности

один вечер. Мы остановились у одной живописной деревеньки, когда сумерки уже сгущались. Некоторые из нас сошли на берег и отправились бродить по деревне. Вскоре меня окружила толпа не менее чем в сотню китайцев. Хотя я не знал ни слова по-китайски, а они столько же по-русски, но мы оживленно и дружелюбно болтали (если только это слово применимо здесь) при помощи знаков и отлично понимали друг друга. Решительно все народы понимают, что значит, если дружелюбно потрепать по плечу. Предложить друг другу табачок или огонька, чтобы закурить, тоже очень понятное выражение дружеского чувства. Одна вещь в особенности, по-видимому, интересовала китайцев: почему у меня борода, хотя я такой молодой? Им позволяется отращивать растительность на подбородке, только когда стукнет шестьдесят лет. Я объяснил своим «собеседникам» знаками, что в случае крайности могу питаться бородой, если нечего будет есть. Шутка была понятна и немедленно передана от одного к другому. Китайцы заливались от смеха и еще более дружелюбно принялись трепать меня по плечу. Они водили меня к себе, показывали дома, каждый предлагал свою трубку, а затем вся толпа дружески проводила меня до парохода. Должен добавить, что в этой деревне не было и следа «божко» (полицейского). В других деревнях как наши солдаты, так и мы всегда завязывали дружелюбные сношения с китайцами; но чуть только показывался «божко», все дело портилось. Зато нужно было видеть, какие рожи они ему строили за спиной! По-видимому, китайцы ненавидели этого представителя предрержащей власти.

Про эту экспедицию потом забыли. Астроном Ф. Усольцев и я, мы напечатали отчеты о поездке в «Записках» Восточно-Сибирского отдела Географического общества; но через несколько лет, во время страшного пожара в Иркутске, погибли все оставшиеся экземпляры «Записок», а также карта Сунгари. И только в последнее время, когда начались работы по Маньчжурской железной дороге, русские географы откопали наши отчеты и нашли, что Сунгари была исследована еще тридцать лет тому назад.

Так как с реформами покончили, то я пытался сделать все, что возможно было при наличных условиях в других областях, но я скоро убедился в бесполезности всяких усилий. Так, например, как чиновник особых поручений при генерал-губернаторе по казачьим делам, я сделал тщательное исследование хозяйственного положения уссурийских казаков, терпевших недород каждый год, так что правительство должно было кормить их всю зиму, чтобы избавить от голодной смерти. Когда я возвратился в Уссури с моим докладом, то получил поздравления со всех сторон; я был произведен, мне дали специальную награду. Все меры, указанные мною, были приняты. По моему совету некоторым станицам помогли деньгами, другим – скотом, а третьи выселили на лучшие места, на побережье Тихого океана. Но практическое выполнение намеченных мер поручили старому пьянице, который розгами приучал казаков к земледелию. И так дело шло всюду, начиная от Зимнего дворца до Уссурийского края и Камчатки.

Высшая сибирская администрация имела самые лучшие намерения; опять повторяю, состояла она во всяком случае из людей гораздо лучших, гораздо более развитых и более заботившихся о благе края, чем остальные власти в России. Но все же то была администрация – ветвь дерева, державшегося своими корнями в Петербурге. И этого вполне было достаточно, чтобы парализовать все благие намерения и мешать местным самородным проявлениям общественной жизни и прогресса. Если местные жители задумывали что-

нибудь для блага края, на это смотрели подозрительно, с недоверием. Попытка немедленно парализовалась не столько вследствие дурных намерений (вообще я заметил, что люди лучше, чем учреждения), но просто потому, что сибирские власти принадлежали к пирамидальной, централизованной администрации. Уже один тот факт, что они были ветвью правительственного дерева, коренившегося в далекой столице, заставлял сибирские власти смотреть на все прежде всего с чиновничьей точки зрения. Раньше всего возникал у них вопрос не о том, насколько то или другое полезно для края, а о том, что скажет начальство там, как взглянут на это начинание заправляющие правительственной машиной.

Постепенно я все более стал отдаваться научным исследованиям. В 1865 году я исследовал Западные Саяны. Здесь у меня прибавилось еще несколько новых данных для построения схемы орографии Сибири, и я также нашел другую важную вулканическую область на границе Китая, к югу от Окинского караула. Наконец в 1866 году я предпринял далекое путешествие, чтобы открыть прямой путь из Забайкалья на Витимские и Олекминские золотые прииски. В продолжение нескольких лет (1860–1864) члены Сибирской экспедиции пытались найти этот путь и пробовали пробраться через параллельные ряды диких каменных хребтов, отделяющих золотые промыслы от Забайкальской области. Но когда исследователи подходили с юга к этим страшным горам, заполняющим страну к северу на несколько сот верст в ширину, все они (кроме одного, убитого инородцами) возвращались назад.

Ясно было, что попытку надо сделать с севера на юг – из страшной, неизвестной пустыни в более теплый и населенный край, и я так и решил сделать, то есть плыть вниз по Лене до приисков и оттуда снарядить экспедицию на юг. Когда я готовился к экспедиции, мне попалась среди другого материала, собранного на Олекминских приисках М. В. Рухловым, – он же и задумал эту экспедицию – небольшая карта, вырезанная тунгусом ножом на кусте бересты. Эта берестяная карта (она, между прочим, является отличным примером полезности геометрической способности даже для первобытного человека и могла бы поэтому заинтересовать А. Р. Уоллэса) так поразила меня своею очевидною правдоподобностью, что я вполне доверился ей и выбрал путь, обозначенный на ней, от Витима к устью большой реки Муи.

Вместе с молодым талантливым зоологом И. С. Поляковым и топографом П. Н. Мошинским мы сначала спустились по Лене и затем проехали горною тропою к Олекминским приискам. Там мы снарядили экспедицию, забрали с собой провизии на три месяца и тронулись на юг. Старый промышленник-якут, который двадцать лет тому назад прошел путем, указанным тунгусом на бересте, взялся быть нашим проводником через горы, занимавшие почти четыреста верст в ширину, следуя долинами рек и ущельями, отмеченными на карте. Он действительно выполнил этот удивительный подвиг, хотя в горах не было положительно никакой тропы. Все заросшие лесом долины, которые открывались с вершины каждого перевала, неопытному глазу казались совершенно одинаковыми, а между тем якут каким-то чутьем угадывал, в которую из них нужно было спуститься. Так мы достигли до устья реки Муи, откуда, переваливши еще через один высокий хребет (очень похожий на Саянский хребет), путь лежал уже по плоскогорью.

На этот раз мы нашли путь с Олекминских приисков в Забайкалье. Три месяца мы странствовали по почти совершенно безлюдной горной стране и по болотистому плоскогорью, пока наконец добрались до цели наших странствований – до Читы. Найденным нами путем теперь гоняют скот с юга на прииски. Что касается до меня, то это путешествие значительно помогло мне впоследствии найти ключ к общему строению сибирских гор и плоскогорий. Но я не пишу книги о путешествиях, а потому должен ограничиться этими замечаниями о моих разведках по Сибири.

Годы, которые я провел в Сибири, научили меня многому, чему я вряд ли мог бы научиться в другом месте. Я быстро понял, что для народа решительно невозможно сделать ничего полезного при помощи административной машины. С этой иллюзией я распростился навсегда.

Затем я стал понимать не только людей и человеческий характер, но также скрытые пружины общественной жизни. Я ясно сознал созидательную работу неведомых масс, о которой редко упоминается в книгах, и понял значение этой построительной работы в росте общества. Я видел, например, как духоборы переселялись на Амур, видел, сколько выгод давала им их полукоммунистическая жизнь и как удивительно устроились они там, где другие переселенцы терпели неудачу, и это научило меня многому, чему бы я не мог научиться из книг. Я жил так же среди бродячих инородцев и видел, какой сложный общественный строй выработали они, помимо всякого влияния цивилизации. Эти факты помогли мне впоследствии понять то, что я узнавал из чтения по антропологии. Путем прямого наблюдения я понял роль, которую неизвестные массы играют в крупных исторических событиях: переселениях, войнах, выработке форм общественной жизни. И я пришел к таким же мыслям о вождях и толпе, которые высказывает Л. Н. Толстой в своем великом произведении «Война и мир».

Воспитанный в помещичьей семье, я, как все молодые люди моего времени, вступил в жизнь с искренним убеждением в том, что нужно командовать, приказывать, распекать, наказывать и тому подобное. Но как только мне пришлось выполнять ответственные предприятия и входить для этого в сношения с людьми, причем каждая ошибка имела бы очень серьезные последствия, я понял разницу между действием на принципах дисциплины или же на началах взаимного понимания. Дисциплина хороша на военных парадах, но ничего не стоит в действительной жизни, там, где результат может быть достигнут лишь сильным напряжением воли всех, направленной к общей цели. Хотя я тогда еще не формулировал моих мыслей словами, заимствованными из боевых кличей политических партий, я все-таки могу сказать теперь, что в Сибири я утратил всякую веру в государственную дисциплину: я был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом.

На множестве примеров я видел всю разницу между начальническим отношением к делу и «мирским», общественным и видел результаты обоих этих отношений. И я на деле приучался самой жизнью к этому «мирскому» отношению и видел, как такое отношение ведет к успеху.

В возрасте от девятнадцати до двадцати пяти лет я вырабатывал всякие планы реформ, имел дело с сотнями людей на Амуре, подготовлял и выполнял рискованные экспедиции с

ничтожными средствами. И если эти предприятия более или менее удавались, то объясняю я это только тем, что скоро понял, что в серьезных делах командованием и дисциплиной немногого достигнешь. Люди личного почина нужны везде; но раз толчок дан, дело, в особенности у нас в России, должно выполняться не на военный лад, а, скорее, мирским порядком, путем общего согласия. Хорошо было бы, если бы все господа, строящие планы государственной дисциплины, прежде чем расписывать свои утопии, прошли бы школу действительной жизни. Тогда меньше было бы проектов постройки будущего общества по-военному, пирамидальному образцу.

При всем том жизнь в Сибири становилась для меня все менее и менее привлекательной, хотя мой брат и жил теперь со мной в Иркутске, где он командовал казачьей сотней. Мы были счастливы вместе, читали много и обсуждали все философские, научные и социалистические вопросы дня; но оба мы жаждали умственной жизни, которой не было в Сибири. Великим событием для нас был проезд через Иркутск американского геолога Рафаэля Пумпэлли и известного немецкого антрополога Адольфа Бастиана. Но они пробыли с нами несколько дней и умчались туда, на Запад. Нас привлекала научная, а в особенности политическая, жизнь Западной Европы, которую мы знали по газетам. И в наших разговорах мы постоянно поднимали вопрос о возвращении в Россию. В конце концов восстание польских ссыльных в Сибири в 1866 году открыло нам глаза и показало то фальшивое положение, которое мы оба занимали как офицеры русской армии.

VII. Восстание ссыльных поляков на Кругобайкальской дороге. Усмирение. Выход в отставку

Я был тогда далеко в Витимских горах, когда ссыльные поляки, работавшие на Кругобайкальской дороге, сделали отчаянную попытку сбросить оковы и пробраться в Китай через Монголию. Против них послали войска, и один русский офицер был убит повстанцами. Я узнал подробности этого восстания, когда возвратился в Иркутск, где около пятидесяти поляков должны были судиться военным судом; а так как заседания военных судов в России бывают открытыми, то я присутствовал все время и записывал речи. Я составил подробный отчет, который и был, к великому неудовольствию генерал-губернатора, помещен целиком в «Биржевых ведомостях» за 1866 год (другой отчет, составленный Вагиным, был помещен в «Петербургских ведомостях»).

После восстания 1863 года в одну Восточную Сибирь прислали одиннадцать тысяч мужчин и женщин, главным образом студентов, художников, бывших офицеров, помещиков и в особенности искусных ремесленников – лучших представителей варшавского пролетариата. Большую часть их послали в каторжные работы, остальных же поселили в деревнях, где они не находили работы и почти умирали с голода. Каторжники-поляки работали или в Чите, где они строили баржи (то были наиболее счастливые), или на казенных чугунолитейных заводах, или на соляных варницах. Я видел последних в Усть-Куте на Лене. Полуголые, они

стояли в балагане вокруг громадного котла и мешали кипевший густой рассол длинными веслами. В балагане жара была адская; но через широкие раскрытые двери дул леденящий сквозняк, чтобы помогать испарению рассола. В два года работы при подобных условиях мученики умирали от чахотки.

Впоследствии значительное число ссыльных поляков поставили на постройку Кругобайкальской дороги. Байкал, как известно, длинное и узкое альпийское озеро, окруженное живописными горами от трех до пяти тысяч футов высоты, которое отделяет Иркутскую губернию от Забайкалья и Амурской области. Зимой переправляются по льду, а летом – на пароходах. Но весной и осенью добраться до Читы и до Кяхты можно было только окружной горной тропой, по старой Кругобайкальской дороге, пересекая хребты в семь – восемь тысяч футов высоты. Я раз проехал этой дорогой и, конечно, глубоко наслаждался великолепную панорамой гор, покрытых в мае толстым слоем снега. Но в общем дорога была ужасна. Тракт идет у подножья высоких гор, круто спускающихся к озеру и покрытых снизу доверху первобытным лесом. Ущелья и потоки на каждом шагу пересекают дорогу. Двенадцать верст перевала через хребет Хамар-Дабан заняли у меня семнадцать часов, от трех утра до восьми вечера Лошади наши постоянно проваливались в рыхлый снег и погружались вместе с всадниками в ледяные потоки, текущие под снежным покровом. В конце концов решено было проложить постоянную тележную дорогу вдоль самого берега озера, взрывая порохом отвесные скалы и перекидывая мосты через бесчисленные горные потоки. Эту трудную работу выполняли польские ссыльные.

За последние сто лет в Сибирь было послано немало русских политических ссыльных, но по характерной русской черте они подчинялись своей участи и никогда не восставали. Они давали убивать себя медленной смертью и не пытались даже освободиться. Поляки же, к чести их будь сказано, никогда не несли своего жребия с такой покорностью. На этот раз они устроили настоящее восстание. Конечно, шансов на успех у них не было никаких, но они тем не менее восстали. Впереди их было громадное озеро, а позади их возвышались горные пустыни Северной Монголии. Они решили поэтому обезоружить карауливших их солдат, выковать страшное оружие повстанцев – косы и пробиться через горы Монголии к морю, в Китай, где их могли бы принять английские корабли. И вот раз в Иркутск пришло известие, что часть поляков, работавших на Кругобайкальской дороге, возмутилась и обезоружила около дюжины солдат. Против них могли отправить из Иркутска отряд пехоты, всего в восемьдесят человек. Переправившись через Байкал на пароходе, солдаты пошли против повстанцев, находившихся на другом берегу озера.

Зима 1866 года в Иркутске была особенно скучная. В столице Восточной Сибири не наблюдалось такого резкого деления на классы, как в остальных русских провинциальных городах. Иркутское «общество» состояло из офицеров, чиновников, жен и дочерей местных купцов и священников. Зимой они все встречались по четвергам в собрании. В том году, однако, не чувствовалось оживление на вечерах. Любители драматического искусства тоже терпели неудачи. Даже картежная игра, обыкновенно процветающая в Сибири, и та шла вяло в эту зиму. Среди офицеров чувствовался недостаток в деньгах, и даже приезд нескольких горных инженеров не ознаменовался грудями бумажек, являвшимися прежде так кстати для рыцарей зеленого поля.

Сезон решительно был скучный: настоящий сезон для спирических опытов и говорящих столов. Один господин, баловень иркутского общества, который в предыдущую зиму забавлял всех рассказами из народной жизни, принялся теперь за стучащие столы, когда увидел, что его анекдоты потеряли прежний интерес. Он был ловкий человек, и через неделю весь Иркутск помешался на таких «опытах». Новая жизнь открылась для тех, которые не знали, как убить время. Стучащие столы появились в каждой гостиной, ухаживание очень удобно уживалось со стуком духов. Поручик Прохоров очень серьезно отнесся и к столам, и к ухаживанию. Быть может, это последнее ему менее удавалось, чем первое. Во всяком случае, когда прибыло известие о польском восстании, он отпросился присоединиться к отряду.

«Иду против поляков, – писал он в своем дневнике, – интересно было бы вернуться легко раненым».

Он был убит. Он гарцевал на коне рядом с полковником, командовавшим солдатами, когда началась «битва с повстанцами», пышное описание которой можно найти в архивах генерального штаба. Солдаты медленно двигались по дороге, когда встретили около пятидесяти поляков, из которых пять или шесть были вооружены ружьями, а остальные – косами. Поляки засели в лесу и время от времени попаливали. Солдаты отвечали на выстрелы. Прохоров дважды просил у полковника разрешения спешиться и броситься в цепь, так что полковник в конце концов сердито приказал поручику оставаться на своем месте. Несмотря на приказ, Прохоров вдруг исчез. В лесу раздалось несколько выстрелов, затем послышались дикие крики. Солдаты бросились по направлению к ним и нашли поручика, плавающего в крови на траве. Поляки выпустили последние заряды и сдались. Битва кончилась, Прохоров лежал мертвым.

Он бросился с револьвером в руках в чащу, где наткнулся на несколько косиньеров, выпустил в них наудачу все свои заряды и ранил одного. Тогда остальные кинулись на Прохорова с косами.

На другом конце дороги, на западном берегу озера, два русских офицера самым позорным образом обошлись с «мирными» поляками, работавшими в этом месте, но не присоединившимися к восстанию. С грубыми ругательствами один из офицеров вбежал в балаган, где жили ссыльные, и стал стрелять по ним из револьвера, причем тяжело ранил двух. Другой привязывал мирных поляков к возам и жестоко расправлялся с ними нагайкой – так себе, для потехи.

По логике сибирских властей выходило, что так как убит русский офицер, то следует казнить несколько поляков. Военный суд приговорил к смертной казни пять человек: Шарамовича, красивого, умного и энергичного тридцатилетнего пианиста, командовавшего восстанием, шестидесятилетнего старика Целинского, бывшего прежде русским офицером, и трех других, фамилий которых я не помню.

Генерал-губернатор телеграфировал в Петербург и просил разрешения смягчить приговор, но ответа не последовало. Он обещал нам не приводить в исполнение смертного приговора, но, прожив несколько дней и не получив ответа из Петербурга, приказал совершить казнь

секретно, рано утром. Ответ из Петербурга прибыл почтой, через месяц! Генерал-губернатору предоставлялось «поступить по собственному благоусмотрению».

Пять человек были уже расстреляны.

Мне часто приходилось слышать, что это восстание было безрассудно, а между тем горсть храбрых повстанцев добилась кое-чего. О бунте стало известно за границей. Казни, жестокость двух офицеров, которая раскрылась на суде, вызвали сильное волнение в Австрии. Австрийское правительство заступилось за галичан, принимавших участие в революции 1863 года и сосланных тогда в Сибирь, и некоторые из них были возвращены на родину. Вообще вскоре после мятежа 1866 года положение всех ссыльных поляков заметно улучшилось. И этим они обязаны были бунту, тем, которые взяли за оружие, и тем пяти мужественным людям, которые были расстреляны в Иркутске.

Для меня и для брата восстание послужило уроком. Мы убедились в том, что значит так или иначе принадлежать к армии. Я находился далеко, в экспедиции, но Александр был в Иркутске, и его сотню двинули против поляков. К счастью, командир полка, в котором служил брат, хорошо знал его и под каким-то предлогом приказал другому офицеру командовать отрядом. Иначе Александр, конечно, отказался бы выступить в поход. Если бы я был тогда в Иркутске, то сделал бы то же самое.

Мы решили расстаться с военной службой и возвратиться в Россию. Сделать это было не особенно легко, в особенности брату, который женился в Сибири, но в конце концов все устроилось, и весной 1867 года мы поехали в Петербург.

Версия #2

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 29 апреля 2025 05:32:50

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 29 апреля 2025 05:37:06